

Духовная проза

Владислав Бахревский

БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА



Духовная проза (Вече)

Владислав Бахревский

Боярыня Морозова

«ВЕЧЕ»

2019

Бахревский В. А.

Боярыня Морозова / В. А. Бахревский — «ВЕЧЕ»,
2019 — (Духовная проза (Вече))

ISBN 978-5-4484-8099-7

Роман «Боярыня Морозова» известного писателя-историка Владислава Бахревского рассказывает о сподвижнице протопопа Аввакума, ставшей одной из знаковых фигур русского старообрядчества. Боярыня Морозова, в девичестве – Федосья Соковнина, предстаёт перед читателем не воительницей, а обычной женщиной. Скромная и добросердечная, своим чутким сердцем она умеет угадывать, что правильно. Именно в этом её сила, помогшая завоевать расположение царицы Марии Ильиничны, устроившей свадьбу Федосьи с Глебом Ивановичем Морозовым, человеком из ближнего круга царской семьи. Заметную роль в повествовании играет и воспитатель царя – Борис Иванович Морозов, брат Глеба. Через судьбу Бориса и его родственников показана вся история России середины XVII века – сложная и противоречивая.

ISBN 978-5-4484-8099-7

© Бахревский В. А., 2019

© ВЕЧЕ, 2019

Содержание

Часть первая. Сестры Соковнины	7
Число пятнадцать	7
Казаки Азова	9
Повесть есаула	12
Богородицкая трава	14
Доброе дело	16
Горести доброго дела	17
Заморский принц	19
Неудача Морозова	22
Царевич	25
Птиц отпущенье	27
Тяжкие думы	29
Весна в сердце	31
Присяга	32
Сиротство царя	34
Дела правителя	36
Царь и Никон	40
Венчание на царство	42
Заботы	45
Соль	47
Аршин	48
Воскресенье – праздничный день	49
Смотрины	50
Всеволожская	52
Сестры Милославские	53
Происшествие на дороге	54
Синий камень	56
Обида за царя	58
Ожидание бунта	59
Новая невеста	61
Дни ожидания	62
Счастливые Соковнины	65
Клятва верховной боярыни	67
Охота	68
Казнь холопов	71
Битая к празднику	74
Челобитчики	76
Бунт	78
Смерть Плещеева	83
Пожар	87
Расправа	89
Царь и народ	90
Возвращение Морозова	92
«Уложение»	94
Княгиня Урусова	96
Часть вторая. Боярыня Морозова	98

Протопоп Аввакум	98
Конец ознакомительного фрагмента.	99

Владислав Бахревский

Боярыня Морозова

© Бахревский В.А., 2019

© ООО «Издательство «Вече», 2019

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019

Сайт издательства www.veche.ru

Часть первая. Сестры Соковнины

Число пятнадцать

Для небесных овечек русское небо – ласковая мурава. Потому и земля у нас зеленая, овечкам весело. А тут макушка лета и ни единой ярочки в лугах над головой.

Раскинув руки, личиком к солнышку, девочка-подросток то ли шла, то ли плыла. И – запнулась. Почудилось: стрелка дождя сверкнула.

Откуда только взялась? Синева во весь простор праздничная. Ладони отроковица все-таки выставила и – щелк! Капля. Одна-разъединая. Может, слеза... Но чья? Слеза птицы? Так над головой пусто. Птицы вроде не плачут... Слеза солнца? От солнца – жар. Уж не ангельская ли?

Поднесла девочка ладонь к глазам, а от дождевки – пятнышко.

Она шла в сосенки. Маслят поглядеть. Маслята любят детишек золотого бора, сбегаются толпами.

Но какие уж тут маслята, когда чудо. Ладонь к груди, подхватила упавшее лукошко и – домой. К старцу! К старцу!

А в головке мысль: не святая ли Феодосия подала ей знамение? К старцу! К старцу!

По дороге из Енисейска, где батюшка Прокопий Федорович три года был на воеводстве, матушка Анисья Никитична подобрала скитальца-инока. Нектарию срубили келейку в саду, ибо изнемог прозорливец от людского моря-горя.

У Соковниных его покой берегли, и он, набравшись сил, всю зиму учил читать Псалтырь братьев Федосьи, Федора и Алешу, а ее – азбуке, счету. Дуня, младшая сестричка, на Федосьиных занятиях по своей воле сиживала. Учиться ее не принуждали, но она слушала старца со вниманием и всякое веденье брала в свою головку. Выдумщица, она после уроков накрывала ладонями темечко и признавалась старшей сестрице:

– У меня здесь гнездышко для слов.

За доброе сердце Анисьи Никитичны Господь наградил семейство Соковниных милостиво. Великий государь Михаил Федорович пожаловал воеводу Прокопия, дал ему в веденье Каменный приказ. Приказ третьестепенный, но дело благое: печься о застройке деревянной Москвы каменными домами.

Каменное строительство в стольном граде русском – редкость. У самого Соковнина хоромы деревянные. Низ, правда, кирпичный, но не для жилья. Подkletь, чуланы, подвалы. Келейка старца тоже имела каменное основание.

Федосья прочла Иисусову молитву у двери.

– Открыто, голубица!

По келье старца солнце гуляет. Полы и стены из сосны светоносной, стол и лавка из волнистой березы.

Посадил старец голубицу возле окошка, чтоб глаза видеть.

– Ну, Федосьюшка, у тебя, вижу, радость.

– Чудо! – Девочка раскрыла ладошку, показала перстом. – Вот сюда слеза с неба упала. А ты погляди в окно – ни облачка! Чья это слеза? Птиц я тоже не видела.

– Дождевка ли, слезинка – это тебе знак радости! – Старец принял ладошку девочки в свои ладони. – Апостол Павел так сказал: «Сколько различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения». А чтобы слова эти были нам духовными водителями, верховный апостол учил молиться о даре истолкования. Не станем, Федосьюшка, искать причины, чего

ради получила ты каплю с неба, а вот порадоваться хорошо! Жизнь впереди долгая, но сей малости нечаянной не забудешь и через сорок лет.

На столе у Нектария лежали открытые книги.

– Отец Нектарий, ты в один присест сразу все читаешь? – изумилась Федосья.

– Ответ ищущий! Стар, как Ной, но на склоне лет далась мне мудрость чисел. Простое дело – перст! – указательный палец выставил. – Един. А ну-ка, сосчитай: три, пять, семь.

– Три да пять да семь будет пятнадцать.

– Пятнадцать! – Старец задумался, забыл о госте.

Встрепенулся.

– Число пятнадцать, голубица, запечатляет образ Пресвятой Богородицы. Число пятнадцать – наитайнейшее. Бог сотворяет полную луну за пятнадцать дней. В пятнадцатое лето своего возраста Дева Мария родила сына, Иисуса Христа. После воскресения Спасителя земной жизни ее – тоже ведь пятнадцать лет. Родился же Господь, когда возраст луны был равен пятнадцати дням. В совершенное полнолуние! – Старец повел руками над книгами. – Вот вычитал: ступеней в Иерусалимском храме, куда ввели Богородицу в детские ее годы, было пятнадцать. Потому и песен восхождения – пятнадцать. И в вертеп Рождества Христова, в пещеру Вифлеемскую, пятнадцать же ступеней. Родилась Пресвятая Богородица в пятнадцатое лето царства кесаря Августа. Марией названа в пятнадцатый день младенческой жизни. Наречение по иудейскому закону для девочек был пятнадцатый день, для мальчиков – восьмой.

Старец одну за другой закрыл книги.

– Много чего сказано о пятнадцатом дне, о пятнадцатом годе. Иисус Христос принял крещение от Иоанна Предтечи в пятнадцатый год правления императора Тиберия. Распят накануне иудейской Пасхи и праздника опресноков, а совершались они, праздники, в пятнадцатый день месяца нисана.

Федосья поднялась с лавки, смотрела на книги. Спросила:

– А в твоей жизни число пятнадцать есть?

– Как ему не быть, ежели в месяце тридцать дней... А случалось ли что особое, вспоминать надо.

– А в моей жизни? – Спросила и замерла.

Старец положил руку на голову девочке.

– Тебе другое надо знать и помнить. Твои прапрадеды – выходцы из Германии, бароны Мейндорф-Искюль. Один из Мейндорфов был епископом, а потом и римским папой, имя ему Клементий Второй.

– Папой? – ужаснулась девочка. – Мы русские!

– Русские, – успокоил старец. – Барон Иоганн фон Искюль приехал из Ливонии служить царю Ивану Грозному в 1545 году, девяносто пять лет тому назад. В крещении твой прапрапрадедущка – Федор. А имя вашему роду дал Василий Федорович, прозванный Соковней. Василий Федорович твоему батюшке – прадед.

Девочка стояла, не зная, уходить ли, еще ли спросить. Спросила, отступая к порогу:

– А слезинка-то?

– Слезинка-то? – Старец отер ладонями лицо и бороду. – Радуйся, покуда тепло, покуда лето... Тебе назначено быть совестью...

Улыбнулся, а глаза моргают и будто разглядеть хотят через ресницы, а на ресницах – капельки.

Казачи Азова

Лета ждаты долго. Но нынче порадовался июню: цветы, речка теплая, день долгий, – а проснулся поутру, окно открыл – холод. Дивный, бодрящий. Боже ты мой! Август, лету конец.

И вот уже лес умолк, поле настороженное, в ожидании. А чего дождешься-то – снега?

Господи! Весна ли жданная на дворе, зима ли – лошадке снег по брюхо – жить на белом свете зело интересно. А уж в стольном граде интересу того – стократно.

На Параскеву Пятницу 28 октября в Москву прибыла казачья станица из преславного Азова-города. Азов от Москвы далеко, но всякий человек Московского царства знал о Боге данной победе малого казачьего войска над великой армией турецкого султана. У казаков было семь тысяч сабель, у турок – триста тысяч. Сорокакратное превосходство в живой силе! Еще большее в огневой мощи. Два карамаона – гордость султана Ибрагима – несли на бортах по 300 пушек каждый. А всего казаки под стенами Азова насчитали: 129 больших осадных орудий, 30 мортир и 600 разного калибра – тюфяков, кулеврин, эждердеханов, паранков. И это без корабельных пушек.

Донские казаки, если берутся воевать, страху не имут.

Непобедимая мощь османов в Азове обернулась немощью. То был Божий знак заката великого царства. Турция наступила на казачий камешек. А камешек-то оказался кремнем, искрами сыпал.

Прокопий Федорович Соковнин размещал казачью станицу. Атаманом ее был Наум Васильев, второй человек в Азове после Осипа Петрова – казачьего Ганнибалы, в есаулах станицы Федор Иванов, он вроде еще и Порошиным зовется: златоуст донской вольницы.

С атаманом и есаулом – двадцать четыре казака. Донское воинство ударило челом государю: прими город Азов под руку свою царскую.

Всей Москве был праздник. Не потому, что город Азов на теплом море и сам собою прибыток. Турок – побили! Вот ведь чудо-то. У турок Греция, Царьград, Крым, Молдавия, Балканские страны... Под Азов явились со всею силой своей, явились забрать свое. Казаки город взяли хитростью. А Господь не попустил басурманского торжества. Всему миру вопрос. Как это цыпленок петуха заклевал?..

Впервой московская ребятня в казаков играла.

Федосья с Дуней новости о героях Азова от матушки узнавали, матушка от Прокопия Федоровича.

Многое слышали и от учителя своего, от старца Нектария.

Старец Нектарий на Яике жил, на казачьей реке. Яицкие казаки осетров ловят, орду за реку не пускают – грабят русские земли.

Руки у старца Нектария умелые. Из дуба выстругал сестрам сабельки и по коню. Голова у коня – конская, с гривой, а дальше палочка. Садись и скачи.

Научил песенке казачьей.

Яик ты наш, Яикушка, –

пели сестрицы.

Яик сын Горынович,
Про тебя, про Горыныча,
Идет речь хорошая.
Золоченое у Яикушки
Его было донышко,

Серебряна у Яикушки
Его была покрывалка.
Жемчужные у Яикушки
Его круты бережки.

Соседи завидуют яицким казакам. Пословицу сложили: «Не житье, а Яик».

Старец рассказывал сестрам о ловле огромных белуг – с корабль, о табунах диких лошадей, об удивительных степных озерах, где лебеди – островами, гуси да утки – тучами, где водится удивительная птица пеликан, а в степи, как хозяева, ходят-бродят дрофы.

В назначенный день великий государь Михаил Федорович допустил казаков к своей царской руке.

Атаману Науму Васильеву пожаловал тридцать рублей, есаулу Федору Иванову-Порошину – двадцать, казакам – по пятнадцати. Немалые деньги! Жалованье служилого казака в Московском царстве – пять рублей в год.

Федосья и Дуня в своей комнате устроили казакам царское угощение. Вместо стола – ларец с гладкой крышкой, по сторонам – скамеечки. На скамеечках – куклы, чтоб похоже было, всем куклам Федосья наклеивала усы и бороды.

Вместо денег перед казаками клали речной жемчуг-уродец, который в девичьей отсеивали от окатного, крупного, серебристо-лунного.

Отец рассказывал: атаману казачьей станицы великий государь пожаловал на ежедневный корм в алтын шесть деньги, есаулу – четыре алтына, казакам по три. Атаману давали на день шесть чарок вина, три чары меда и три чары пива. Есаулу – четыре чары вина, две чары меда и две пива. Казакам – вина три чары, остального по две.

За каждого казака Федосья с Дуней выпивали воображаемые чары, а потом садились на палки, скакали и пели песню, пусть не донскую, но настоящую казачью.

В день пророка Малахии 3 января 1642 года великий государь Михаил Федорович указал быть собору. На соборе печатник думный дьяк Федор Федорович Лихачев объявил именем государя: в Москву идет турецкий посол говорить об Азове-городе.

Государь спрашивал священников, бояр, дворян, гостей и служилых: должно ли удерживать за Московским царством взятый донскими казаками город Азов или отдать обратно? Это первое. И второе. Должно ли разорвать из-за Азова вечный мир с турецким султаном и ханом Крыма?

Лихачев от себя спросил собор о насущном:

– Принять Азов – все равно что объявить войну. Война с турками будет не на год и не на два. Откуда государю взять деньги и запасы на войну? Войско нужно кормить, войску нужны ружья, пушки, порох.

Духовенство ответило по обычаю своему: пусть государь сделает так, как ему, государю, угодно. Священство помогать царю радо молитвой, деньгами.

Бояре, окольные, думные люди просили Михаила Федоровича принять Азов под его царскую руку.

Стольники и дворяне сказали твердо:

– Азовом не укротить в крымцах и в других поганых басурманах жажды войны и крови. Азов тебе, государь, и всей нашей земле принять и стоять за него крепко.

Священный собор, а стало быть, весь народ Азов принял и назвал Россией.

Но была еще государственная целесообразность. Управлял царством боярин Шереметев Федор Иванович.

Шереметев сказал Лихачеву:

– Азов надо вернуть. Война с турками затянется на годы. Не пришло время. Уверен, придет. Но торопить его – все равно что исторгнуть из чрева матери недозрелый плод.

В Азов поехал царский посол Афанасий Желябужский, повез награду казакам: пять тысяч рублей. Был ему наказ: осмотреть крепость, можно ли поправить стены?

Однако казачья станица докладывала честно: от Азова остались одни камни. Казаки отсиделись от турок в подземельях. Новый приход султана обещали отбить. Что для этого надо? Десять тысяч ратников, пятьдесят тысяч всякого запаса, двадцать тысяч пудов пороха, десять тысяч мушкетов, денег 221 тысячу рублей.

Боярину Шереметеву и думному дьяку Лихачеву было ведомо: посол Мустафа Челебей падишахом Ибрагимом из Порты в Москву отпущен, но где он теперь – по морю плывет ли, в Крыму ли, в Диком ли поле?

Одно было явно: кремлевским людям казачья станица стала в тягость. Однако казаков не отпускали, царь ответа на челобитье Азова не давал.

Однажды Прокопий Федорович привез есаула казачьей станицы к себе домой, обедом кормил.

Сестрицы Федосья и Дуня глядели на казака в щелку от выпавшего сучка. У казака брови вразлет, усы и борода золотистые, лицо веселое, загорелое, а вот голова седая, как у старца.

Матушка Анисья Никитична сокрушалась:

– Волосы есаулу война выбелила.

Много чего рассказал есаул Прокопию Федоровичу. Пришло-де на них, казаков, турецкой силы видимо-невидимо. С пашами падишаха были под Азовом воины многих народов: сами турки, крымцы, греки, сербы, арапы, мадьяры, буданы, босняки, арнауты, волохи, молдаване, черкесы, два полка пехоты немецкой и другие немцы, мастера подкопов. И были в турецком войске умельцы начинять ядра огненным боем. Среди этих умельцев французские петардщики, шведы из Стекольной, итальянцы из Венеции. Страсть Божия! Но в первом же приступе казаки убили полдюжины полковников янычарских и двух полковников немецких, а с полковниками немецкими положили все шесть тысяч их солдат, а янычар – двадцать пять тысяч. Взрывами пороховых ловушек поубивали. А сидели казаки в осаде девяносто три дня!

Анисья Никитична и дочери ее поплакали, изумленные победой, какую Бог дал казакам. Ведь помощниками казаков против такой силы были казацкие жены и дети. И стреляли, и подкопы рыли, обороняясь от турок, спасая город и себя от злой гибели.

Когда есаул уехал, сестрицы пошли в отцову комнату, и Дуня взяла в руки ружье батюшкино. Взяла да не удержала, уронила бы, но Федосья подросла. Тут Дуня и спросила старшую сестрицу:

– А ты бы по туркам-то стрельнула бы?

Федосья ружье поставила на место, подошла к иконе Спаса и крепко задумалась. Дуня к сестрице прижалась, сердечко бьется громко.

– Мы с тобой отроковицы, – сказала Федосья, обнимая Дуню. – Детям да отрокам Бог по молитве их дает. Без ружья.

Но перед сном старшая сестра призналась-таки:

– Дуня! Я про молитву тебе говорила, а сама бы стрельнула.

– И я! – сказала радостно Дуня. Но тотчас вздохнула. – У меня стрельнуть силы нет.

– А сил много не надо. Пороха на полку мушкета насыпь, фитиль поднеси, сам стрельнет.

– А ты бы казачкой хотела быть? – спросила Дуня.

– Мы с тобой дворянки московские.

И молчок.

Дуня ждала ответа, да сон ее сморил.

Тут Федосья и сказала:

– Какую Бог жизнь нам даст, ту и проживем.

Повесть есаула

Святки уродились лунные, потом жарили крещенские морозы, а перед Сретеньем было тепло, и слух по Москве пошел: казачий есаул московскому люду повесть сказывает об азовском сидении.

Матушка Анисья Никитична дочек взяла, и поехали они за Язу.

В церкви, в трапезной, были поставлены лавки, и знакомый сестрицам есаул Федор – седая голова – читал по написанному:

– «Атаманы многие ж видели от образа Иоанна Предтечи течаху от очей ево слезы многия по вся приступы. А первый день, во время приступное, видех лампаду, полну слез от ево образа. А на выласках от нас из города все видеша басурманы – турки, крымцы и нагаи – мужа храбра и млада в одеже ратной, с одним мечем голым на бою ходяще, множество басурман побиваше. А наши не видели. Лишь мы по убитым знаем, што дело Божие, а не рук наших: распластаны люди турецкие, а сечены надвое!»

Затаив дыхание, слушали московские люди есаула. А он, изнемогши, читал про то, как бежали из-под Азова турецкие паши и крымский хан.

– «А нам, казакам, в ту же ночь, с вечера в виде се всем виделось: по валу басурманскому, где их наряд стоял, ходили тут два мужа леты древны. На одном – одежда иерейская, а на другом – власяница мохнатая. А указывают нам на полки басурманские, а говорят нам: “Побежали, казаки, паши турецкие и крымский царь из табор. И пришла на них победа Христа, Сына Божия, с небес от силы Божия”».

Люди плакали потихоньку. И Дуня плакала, а Федосья ее за плечи держала, чтоб сердечко было в сестриной груди крепкое.

У есаула тоже голос взрыдывал, но глядел казак сурово, слез не ронял.

– «...Побито у них мурз и татар, янычар их, девяносто шесть тысяч, кроме мужика черного и охочих янычар. А нас всех казаков в осаде село в Азове только 7367 человек. А которые остались мы, холопи государевы, и от осады той, то все переранены, нет у нас человека целова ни единого, кой бы не пролил крови своея, в Азове сидячи, за имя Божие и за веру христианскую...»

Тут двери в церковь вдруг распахнулись и вошли царские приставы. Велели есаулу идти с ними.

Люди московские, однако ж, все встали и загородили есаула. Священник сказал:

– Не трогайте казака. В его писаниях правда об Азове. Сами послушайте, а есаул пусть повесть дочитает.

И приставы смирились, сели на лавки.

Дочитал-таки свою книгу есаул Федор.

– «А буде государь нас, холопей своих дальних, не пожалует, не велит у нас принять с рук наших Азова-города, заплакав, нам ево покинути! Поднимем мы, грешные, икону Предтечеву да и пойдем с ним, святом, где нам он велит. Атамана своего пострижем у ево образа, тот у нас над нами будет игуменом. А есаула пострижем, тот у нас над нами будет строителем¹. А мы, бедные, хотя дряхлые все, а не отступим от ево Предтечева образа, помрем все тут до единова. Будет во веки славна лавра Предтечева».

Закончилась повесть. Замолчал есаул, московские люди тоже молчали. Спросил кто-то:

– Какая же тебе награда за повесть твою, Федор-есаул?

– Есть награда, – ответил казак. – С 21 февраля по указу велено поденного корма мне, есаулу, не давать.

¹ Строитель – здесь: эконо́м монастыря.

Помолились все и пошли из церкви. Есаул с приставами. Больше казак повести своей не читал ни в церквях московских, ни на площади у храма Василия Блаженного. Потом слух был: великий государь указал есаулу Федору идти в Сибирь.

Посол-то султана турецкого Мустафа Челебей доехал до Москвы. Москва посла не томила, сказала туркам: «Возьмите Азов, казаки своровали город. У великого государя на службе казаков-своевольников нет и не было».

Полгода небось прошло. Сказывали странники: «Трое суток стоял турецкий флот перед руинами Азова-крепости. На четвертый день войска высадились на берег, построились, пошли на приступ. А город травой зарос, кузнечики звенят».

Богородицкая трава

О казаках Москва повздыхала, но скоро явилась новая забота. Завлекательная.

Царевне Ирине Михайловне ловкий сват из немцев Петр Марселис нашел жениха в Датском королевстве. Вольдемар Христианусович мало того, что принц датский, он еще граф Шлезвиг-Голштинский. А это уже немецкая земля. Быть в родстве с немецкими королями, с датскими для русской царевны пристойно и пригоже.

Сначала для постоя принца царь указал дом думного дьяка Грамотина. Со двора навоз вывезли, щепу подобрали. Но, подумавши, царь Михаил Федорович повелел обновить запустелый кремлевский двор царя Бориса.

Соковнину и его Приказу каменных дел великая честь государю порадеть, но хоромы пришлось строить деревянные, в три яруса, с переходами в царский дворец. И особо мыленку, чтоб иноземных бань превосходнее.

Прокопий Федорович ежедневно был при деле, а семейство его на лето переехало в имение.

Дорога не ахти какая дальняя, но жара, пыль. Федосью и Дуню разморило, в имении, однако, хозяев ждали. Полы были вымыты ключевой водой. От полов речкой пахнет. Дорога прохладой, постелено тоже на полу. Нянюшки Федосью и Дуню раздели. Отдыхайте нам на радость.

Девицы легли. Простыни ласковые, в доме запах такой хороший, будто все грехи унесло, и с тела и те, что душу тяжелят. Смежи глаза – тотчас и полетишь.

– Это сон-трава? – спросила Дуня о запахе.

Ответила нянька:

– Богородицкая. Ее зовут еще неувяда, живучка, чабрец.

– А почему богородицкая?

– Должно быть, растет в следочках Богородицы.

В дороге дремлет, но девочки сон перебороли. Леса, поля, речки... Хорошо глядеть на зеленую землю. А в горнице, да на полу прохладном, да вдыхая траву неувяду, заснули сладко и пробудились, проспавши день и ночь, на заре.

Федосья села, а сестричка смотрит, улыбается.

– Дуня! – шепнула старшая. – Пошли на луг, богородицкую траву поищем.

– Пошли! – просияла глазками Дуня. – А как мы ее найдем?

– Чудачка! – Федосья закрыла глаза и потянула ноздрями воздух.

– А-а-а! – обрадовалась Дуня и тоже головку откинула, зажмурилась.

На лугу-то она все-таки глазкам доверилась: искала следочки Божией Матери.

– Иди ко мне! – позвала старшая сестрица. – Вот она. По земле стелется.

Стали собирать травку.

А Дуня и спроси:

– Зачем нам много-то?

– По избам разнесем! Чтоб никто не болел. Чтоб от всех изб шел святой дух.

Целое лукошко набрали. Земляничку видели, но не трогали. Святой травой всю деревню одарить – слаще сладкого.

Отдыхали в березках, на моховитых пеньках. Дуня вдруг встрепенулась.

– Травка-то, говорили, в следочках растет! Давай посмотрим Богородицу.

Федосья испугалась.

– Зачем ты говоришь так? За людьми грех подглядывать, а тут Матерь Христа!

У Дуни слезы покатались из глаз.

– Я же хотела... Я хотела увидеть Богородицу! Благодатную!

– Не кручинься! Мы не очень плохие. Помнишь, как вишенка зацвела?

Это было их чудо. В прошлом году весной холода стояли. Трава зеленела, а в садах ничего не цвело. Федосья придумала подышать на вишенку под окном у них. Они вышли на улицу, погрели ладошками веточки, подышали на вишенку. А из церкви, с вечерни, возвращались, поглядели, а вишенка вся в цвету.

– Ты чудо в сердце храни! – сказала старшая сестрица младшей.

– Я храню.

Федосья улыбнулась.

– Дуня! Давай о самом хорошем не словами говорить... А вот посмотрим друг другу в глаза и порадуемся.

– Давай! – согласилась Дуня. И тотчас посмотрела в глаза сестрице.

– Ты о батюшке и о матушке? – спросила Федосья.

– Правда! – просияла Дуня. – Они у нас самые добрые.

Доброе дело

Поднялись девицы-красавицы с воробьями. Воробьи в густом кусту закричали разом, приветствуя первую толику света, Федосья тотчас и поднялась. Дуня спала щечкой на ладошке. Посапывает, вздыхает.

А не разбудить нельзя: обидится.

Взяли они приготовленную с вечера траву, вышли во двор – звезда. Светлая, тихая. Небо еще сумеречное, а звезды уже погасли. Кроме этой, любимой.

Пошли, и звезда пошла. То ли хранила, то ли радовалась доброму делу.

Положили девочки по травяному пучку на порог избы. Прочитали «Отче наш» – и к другой избе. К третьей, к четвертой. И тут Федосью осенило:

– На все избы по два пучка класть – не хватит. И по одному не хватит.

Целый вечер собранную траву в пучки вязали. Выходит, напрасно.

– А я вот что подумала! – призналась Федосья. – Не дай господи, кто подумает, – на травке-де наговор? В печку бросят, в огонь.

Стали посыпать пороги. На крыльцо не поднимались: ступеньки заскрипят, хозяев разбудят. Небо-то совсем уж светлое. А звездочка горит, не гаснет.

Один ряд домов обошли.

Крайний дом большой, богатый. Травкой порог посыпали, головки подняли, а на них смотрит женщина с коромыслом. На коромысле два ведра молока. Коров доила.

– Доброе утро, госпожи! – Ведра на землю поставила, поклонилась. – Чабрецом пахнет. От болезней крестьян своих уберегаете?

Сестрички молчок, тайное стало явным.

– Вы, госпожи, народу угодные, – сказала женщина. – Травку вашу еще и богородицкой зовут. Божия помощь нынешним летом zelo как надобна.

Показала руками на землю.

– Видите?

– Что? – спросила Федосья.

– Беду.

– Беду?! – изумились сестрицы в один голос.

– Кара Божия! Видите паутину?

Не увидели, но земля была в трещинках.

– Засуха, – сказала женщина, вздыхая. – Май был холодный, дождливый, но последний дождь шел на Иоанна Богослова. А после ни единой капли с неба.

– В лугах зелено, – сказала Федосья.

– Роса, слава богу, выпадала. Но рожь без дождя квелая. – Посмотрела на девиц с улыбкой. – Госпожи, молочка парного не желаете?

Дуня испугалась, а Федосья подошла к ведру, опустилась на колени, отпила молочка. Дуня за сестрицей.

– А ты, госпожа, из другого ведра отпей! – попросила хозяйка. – На счастье нашей семье.

Сестрицы поблагодарили за парное молочко, взяли за руки, чтоб убежать, но Федосья медлила: ей хотелось попросить хозяйку дома о важном, а та сама сказала:

– Не беспокойтесь, госпожи! Ваш добрый секрет останется секретом.

Горести доброго дела

Солнце большое, да каравай мал. Не то что ржи, соломы не уродилось. Голод крестьян в мир гонит, но где он хлебный мир, когда вся Русская земля в немочи. Пахари да сеятели тянут руки, как нищие.

Прокопий Федорович и Анисья Никитична пожаловали своим крестьянам по два мешка ржи да по две меры круп – зиму пережить. Соковнины владели селом, тремя деревнями, лесом, лугом, болотом. В соседях у судьи Каменного приказа служилые люди. Деревеньки – у кого пять изб, у кого десять, а у старика полковника пустошь да изба. Половина избы – дворянская, другая половина – его крестьян. А крестьян этих – старик со старухой, и сын у них, вдовый мужик. Вот и вся собственность.

Долго томила Федосья, а все же набралась храбрости. Пала батюшке и матушке в ноги, просила позволения раздать крестьянам малых деревенек хлебушек.

Прокопий Федорович нахмурился.

– Разве ты, доченька, не знаешь: мы с матерью твоей, с Анисьей Никитичной, хлеб и крупы пожаловали нашим крестьянам. Два амбара стоят пустые. А последний амбар – семье, дворне. Господь милостив, но засуха может повториться. Хоть какой, а запас нужно иметь.

– Батюшка! Матушка! Я прошу позволения на свои деньги и на свои перстеньки купить хлеб. У меня шуба кунья, а мне и в лисьей тепло.

Дуня тоже сняла ожерелье с платья, в камешках.

– И мое возьми!

Раздавать хлеб голодным – дело непростое. Анисья Никитична поехала с дочерьми в закрытой кибитке, на запятки взяла двух холопов, еще один сидел с кучером. В кибитке везли ружье.

Чтобы пыль не глотать, обогнали возы. Возов два. В первом четыре куля белой пшеничной муки да пять мешков ржи. Во втором пять кулей пшени, три мешка гречи, мешок ячменя.

Вот и деревенька. Семь изб. Давали по три меры на избу. В мешке пять пудов. В мере меньше пуда. Первый воз полегчал на четыре с половиной мешка. Избам, где много детей, была прибавка.

Через версту еще деревня. Четыре избы. Со второй подводы сгрузили куль пшени да мешок гречи. Как раз вышло: в куле семь пудов с половиной.

В третьей деревне избы стояли в два ряда. Всего двенадцать. Подарили по две меры на семью. Еще три куля долой и полмешка в придачу.

Через полторы версты наехали на одинокую избу дворянина. У дворянина жена, пятеро детей и ни единого работника. Земли тридцать десятин, да на жаре поля окаменели.

Неловко дворянину меры мерить. Дали куль пшеничной муки, мешок гречи.

Весело затарахтели возы колесами. Переехали высохшую речку. Вода осталась в омурах. Странно было смотреть на мельницу. Плотина есть, а воды нет. А в деревне семнадцать изб.

– Давать будем по одному пуду, – решила Анисья Никитична.

Ушло два куля белой муки. Половина мешка ячменя.

В первой подводе остался куль с пшеничной мукой да треть мешка ржи. Во второй – куль пшени, мешок гречи, полмешка крупы ячменной.

А впереди село. Церковь на горе.

– Помолимся, – сказала дочерям Анисья Никитична.

Возле церкви дом священника. Детишек две дюжины. Смотрят и молчат.

– Они голодные, – шепнула Анисья Никитична Федосье. – Слава богу, не все роздали.

Куль белой муки, куль пшени, мешок гречи – большому семейству.

– Как с неба манна! – воскликнул счастливый батюшка. – Теперь переживем немочь земли. Я и с нищими поделюсь.

– Своих корми! – сурово сказала Анисья Никитична. – Ишь сколько матушка тебе принесла.

– Плодовита горлица моя! – просиял батюшка.

Отслужил молебен. Поехали дарители домой короткой дорогой.

А весть о щедротах Соковниных уж облетела округу.

Вдоль дороги мужики, бабы с детишками. Все на коленях, поклоны бьют.

– Ржи маленько осталось да ячменю полмешка. Пусть сами делят.

Мешки возчики сняли. И давай настегивать лошадей.

А через четыре версты – опять народ, на дороге дети.

– Что будем делать? – спросила Анисья Никитична кучера.

– У меня для лошадей овес. Полмешка.

– Сыпь им в руки, а проедем – гони.

– Подставляй у кого что есть! – закричали холопы.

Промчались остаток дороги, в пыль кутаясь. Пыль глаза застилала.

Во двор вкатили – и все без сил. Поглядела Анисья на дочерей, а Дуня дрожит как осинный лист, но Федосья спокойна. Поцеловала сестричку в глазки.

– У нас на всех хлеба нет. Но ты вспомни, скольких мы накормили. Батюшкиных детишек вспомни!

– Конна-конна-па-па-тенькие! – выговорила длинное слово Дуня, а слезы так и текут по личику.

Анисья Никитична вздохнула, крестясь.

– Вот как дела-то добрые делать. Втайне надобно! Не то себе дороже.

Заморский принц

Московская зима для сказок – и для праздников, а в 1644 году праздник получился долгий.

21 января Москва встретила датского королевича Вольдемара Христианусовича. Весь народ вышел почтить и повеличать желанного заморского жениха. Царь Михаил Федорович был с боярами, с окольными, с думными дьяками. Патриарх Иосиф с митрополитами, с игуменами московских и окрестных монастырей. И все это ради царевны Ирины Михайловны, невесты. Нашей. Московской!

25 января царь Михаил Федорович пришел к датскому принцу как раз переходами, по родственному. Обнимал, называл сыном.

Через три дня жениха и его свиту пригласили в Грановитую палату к столу великого государя. Ели, пили, радовались друг другу, а Михаил Федорович дарил жениху серебряные кубки, а иные весом были в девятнадцать фунтов. По полпуда!

Прокопий Федорович рассказывал о царских пирах Анисье Никитичне, Анисья Никитична дочерям.

Федосья и Дуня радовались за царевну Ирину Михайловну. Много чего было удивительного. Датский принц отдался щедро. Поднес царевичу Алексею запону в алмазах. Прокопий Федорович рассказывал: запону оценили мастера Золотой палаты в 6722 рубля! В гнездах запоны поместилось пятьдесят четыре алмаза больших и малых да еще вислых тридцать два.

Все ждали обручения, дело было за принцем, за его согласием креститься в православие. И на тебе! Датчанин вдруг заупрямился, и Москва обмерла.

На мученика Власия февраля в одиннадцатый день к Соковниным приехала в гости Катерина Федоровна Милославская с дочерьми Марией и Аннушкой. Мария-то уж сама в невестах – двадцать лет, а смугляночка-сестрица – совсем еще подросточек, не намного старше двенадцатилетней Федосьи.

Милославские для Москвы люди малоприметные, с Катериной Федоровной Анисья Никитична в родстве, но сами-то Соковнины – служилые людишки. Чин окольного Прокопия Федоровичу даже во сне присниться не может. Порода нет.

У Милославских была опора, но вся вышла. Бывший печатник, думный дьяк Иван Тарасович Грамотин отошел ко Господу шесть лет тому назад.

Слава Грамотина была велика, а жизнь его – черный омут. Не свой природный царь, но Лжедмитрий возвел его в думные дьяки Посольского приказа. Лжедмитрий величал служивших ему за ум, за книжность, за дерзкое сердце. Царя Василия Ивановича Шуйского Грамотин предал, ушел к Тушинскому вору. Не надолго! Польский король Сигизмунд почтил Ивана Тарасовича своим королевским доверием и отдал ему в управление Посольский приказ, наградив чином печатника. Съездил Грамотин в Польшу ради скорейшего воцарения королевича Владислава. С королем Сигизмундом ходил в поход на Москву. Король посылал его в Троице-Сергиев монастырь уговаривать монахов сложить оружие перед польским воеводою Сапегой. Потом была жизнь в польском плену, где печатник сдружился с патриархом Филаретом. Воротился вместе с ним в Москву, сохранил звание печатника и до 1626 года управлял Посольским приказом. Свалил Грамотина сам Филарет, отправил интригана в Алатырь, в ссылку, но в 1634 году патриарх преставился, и царь Михаил вернул опального в Москву, держал при себе советчиком.

Потому-то и перепали Илье Даниловичу Милославскому иные службишки Посольского приказа. К турецкому султану ездил в Царьград, но как был стольником, в стольниках и остался. Малому человеку и дела перепадает малые. Дорожили Милославские дружбой Соковниных: Прокопий Федорович все-таки судья приказа. В дальних рядах, но при царе.

У Соковниных Милославских любили, привечали.

По случаю Великого поста Анисья Никитична угощала гостей медом, вареньями, орехами, брусничной водой и новостями. А новости как раз и были дороги Катерине Милославской.

Прокопий Федорович, строивший палаты для жениха царевны Ирины, ответчик за его уют. Все запросы принца – Соковнину. Выходит, что и знал о нем много больше других.

Дело-то затевалось зело непростое. Королевич на вопросы царя о вере, гордыни ради, взялся отвечать письменно. И в ответ ему пошли письма. Патриарх Иосиф прислал Вольдемару Христианусовичу столбец в сорок восемь сажень!

Шел упорный слух: заморский жених собирается бежать из Москвы. Царевич Алексей устраивал для принца медвежью потеху, но от приятельства пользы никакой не было.

Катерина Федоровна разволновалась.

– Мне Авдотья Алексеевна, она жена Глеба Ивановича Морозова, да и сама княжеского рода – Сицкая, говорила на днях: подушки царевны Ирины Михайловны каждый день сушат на печи.

– Заплачешь! – согласилась Анисья Никитична. – Наши голубки-царевны все ведь девы. Не монахини, но девы, в Тереме как в затворе.

Милое лицо старшей дочери Катерины Федоровны покрылось румянцем, а в глазах слезы.

– Я молюсь за Ирину Михайловну. Господи! Неужто принцу так страшно креститься в нашу веру?

– Может, и страшно! – Катерина Федоровна тоже положила ладони на ланиты свои. – Может, и страшно! Русский человек для его датской страны – дальний. Илья Данилыч, супруг мой, сказывал: ихние люди русский народ почитают родней медведям. Да и вправду! Чем мужик не медведь, коли в треухе, в тулупе, в валенках?

– Люди мы! – сказала Анисья Никитична тихонько. – Такие же люди, как немцы, как ляхи.

– У них столько моря нет, сколько над нами неба! – осмелела старшая дочь Катерины Федоровны.

Все смотрели на Марию, ждали, к чему ведет. Тут она уж маковым цветом зарделась.

– А то-то и оно! Над Русской землей Бога больше. Я глобус у царицы в комнатах смотрела. Датское королевство – с ноготь.

– Ну и слава те, Господи! – возрадовалась Анисья Никитична. – Коли на плечах королевича голова, свадьбе быть. Ежели королевство с ноготь – что принц, что прыщ, то ли дело государь всея Русской земли-матушки.

– В цари-то Вольдемара прочат, что ли? – насторожилась Милославская.

– Зачем нам заморский царь?! Наследник у нас – загляденье! Речь о родстве. Коли принц повенчается с Ириной Михайловной, получит в приданое города, земли и само имя наше – Россия.

Гости, угостившись новостями, уехали, а Федосья с Дуней скорей в келейку старца, опустевшую. В монастырь ушел инок Нектарий. Молились отроковицы о счастье царевны Ирины Михайловны. Хорошо молились, поплакали. А потом призадумались.

– О счастье-то не грех Иисуса Христа просить?

Вопрос задала Дуня, но ответа Федосья не знала. Испугались. О душе надо молиться, о спасении...

И вот оно как! На Николу вешнего стряслась беда. Датский королевич, видя, что у всей Москвы праздник, дождался ночи и с тридцатью немцами – все верхами – проскакали из Кремля до Тверских ворот Белого города. А стрельцы хоть и пьяны были, но службу знают, загородили дорогу.

Немцы разгорячились, давай из пистолетов палить, в стрельцов шпагами тыкать. Так стрельцы – тоже люди военные. Одного датского дворянина охватили, остальных отдубасили. Принц сообразил: дело не выгорело, убежал к себе во дворец. За ним и немцы его.

Стрельцы повели пленного в Кремль, царю отдать, а в Кремле, возле храма Николы Гостунского, на них напал сам принц Вольдемар. Бой был короткий, принц заколол стрельца шпагой, немцы пленного отбили и бегом к себе в Борисов дворец, двери на запор. Нападение было подлое, кровавое. Шестеро стрельцов получили ранения. Один и вовсе убит.

Царь утром прислал к Вольдемару боярина Сицкого с государевым неудовольствием, а в ответ – дерзость. Принц признался: стрельца убил собственной рукой, ибо желает уйти из Москвы. И немедленно!

Тогда царь да патриарх отправили к королевичу священников и думных дьяков говорить о вере, а чтобы задобрить, успокоить иноземца, устроили для него полевую охоту.

Принц тешился беззаботно. Смелый человек. Истинных царских кровей.

Однако ж в день своего рождения, 12 июля, Михаил Федорович горе-жениха к царскому столу не позвал, а почтить почтил. Принцу принесли от государя двести пятьдесят блюд, ради поста – рыбных, и всяческие пирожные.

Текло времечко, и было оно последним для великого государя.

Неудача Морозова

1 сентября – новолетие. Пошел отсчитывать свои дни 7153 год от Сотворения мира, 1645 год от Рождества Христова.

10 сентября ради родственного расположения Михаил Федорович позвал-таки принца датского к царскому своему столу. Снова посыпались дары, а на другой день пришел к Вольдемару наследник Алексей.

Датчанин, доброй души человек, дружбе радовался, устроил царю и наследнику ответный пир.

На пиру учился русской вежливости. Поставил было перед царем и перед Алексеем лучшие кушанья, царь кушанья отведал, пир начался. И тут Вольдемар приметил: наследник Алексей к еде не притрагивается. Отравы опасается? Но его отец ест. Сообразил датчанин: по русскому обычаю хозяин стола подает гостю кушанья своими руками.

Взял блюдо, поднес Алексею. Тот блюдо принял, угощался с удовольствием, с приятельством.

В тот же вечер Прокопий Федорович Соковнин рассказал супруге Анисье Никитичне и дочерям своим Федосье и Евдокии об этом пиршестве во дворце Бориса Годунова:

– Когда нас кормили, слуг его царского величества, королевич милостиво всем поднес по чарке водки и одарил кушаньем из рук своих, а потом каждому пожаловал испанского вина по половине фляжки. В Рождество Богородицы отведаете. А потом царь-то и скажи: «Поднеси, королевич, ради радости нашей, по чаре вина и своим слугам, как поднес моим».

– И что же? – спросила Анисья Никитична, чувствуя некую интригу.

– А вот как вышло-то, – засмеялся Прокопий Федорович. – Королевича аж в краску бросило. Как это он прислуге своей угождать станет? И говорит королевич-то: «Великий государь, коли тебе угодно изъяснить свою царскую милость моим людям, пожалуй их и чарой и кушаньем из своих рук».

– И что же?

– Да как что! Мы-то, чай, православные, Михаил Федорович не погнушался, обнес каждого слугу королевича чаркой водки. А чарка-то золотая. После великого государя наследник Алексей Михайлович тоже всех водкой потчевал, из этой же самой золотой чарки.

– И что случилось? – все более изумлялась Анисья Никитична.

– Да то и случилось. Служил-таки своим слугам Вольдемар Христианусович! Всем радостно стало. Принц-то спрашивает: не угодно ли великому государю и его царскому высочеству, наследнику, послушать трубачей и литаврщиков? И сие угодно было. Трубили трубачи что есть мочи, литавры уж такой звон сыпали, хоть пляши. Заздравные чаши пошли. Королевич, распаляясь, сам бил в литавры. Михаил Федорович ласкал его словесно и обнимал, как отец родной. И вот тут-то Борис Иванович Морозов смекнул о деле. Он ведь дороден, а лицом – дитя светлое. Улыбнулся, почитай как младенец, и говорит: «Ах, какая отрада – зреть столь великую любовь и дружбу между государями. А кабы сошлись государи-то едино и в вере, радость преумножилась бы неизреченным обилием. Ведь вся Русская земля, у которой края нет, в сей радости была бы как в лучах солнца. Солнце одно, а всей земле свет».

Царь Борис-то Ивановичу бровкой шевельнул: вовремя сказано.

– И что же? – Анисья Никитична даже дышать не решалась.

– Эх! – махнул рукою Прокопий Федорович. – Принц, как дубовая колода, свое твердит: «Любовь и дружба, коли искренние, разными верами не истребляются».

Борис Иванович, он же мудрый, с приятной печалью подъехал к Вольдемару: «Будучи единой веры с государями нашими, с народом православным, их высочество принц и граф будет любим людьми и высшего звания и низшего. Духовные чада Божии, все миряне, все

воинство полюбят их королевскую милость преданно и воздадут почести такие же, как его царскому величеству и царевичу!»

Королевич тут и говорит: «Его царское величество и без того оказывает мне большой почет. Будет надобность, я готов любовь и дружбу царя, любовь и дружбу сына его, моего друга, оплатить своей кровью. Но чтоб менять веру – тому не бывать. И не должно быть во веки веков».

– Знать, не суждено, – сказала Анистья Никитична. – Не суждено бедной Ирине Михайловне быть женою. А Борис Иванович молодец! Он ведь у наследника в дворецких?

– Дворецкий. Промашка у него потом случилась.

– Да что ж такое?

– Попировали. Вышли в сад. Принц приказал слуге принести шапку. Шапка у него шита золотом и серебром, подбита соболями. Михаилу Федоровичу поглядеть захотелось шапку. Снял с головы принца и примерил. Наследник, Алексей-то Михайлович, и говорит: «Пригоже!» Свою, черную, бархатную, черные лисицы спереди и сзади, ну и в жемчуге, царь дал принцу. Тот надел цареву шапку, а она впору. «Славно! – говорит принц. – Пусть всякий оставит у себя то, что у него в руках!» А Михаил-то Федорович согласился: «Будь по-твоему». Принцу носить царскую шапку не по чину, стал извиняться, но великий государь обнял его – и делу конец. И тотчас милость явил, освободил из тюрьмы офицера из свиты королевича, который сидел за убийство русского дворянина. Вот тут-то Борис Иванович опять подкатился к королевичу с просьбой – креститься в православие. Вольдемар нахмурился, и царь попросил отойти боярина, не надоедать. А тот в раж, опять за свое. Алексей Михайлович нрава горячего, схватил учителя за грудки да и заорал, гнева не смирняя: «Пошел вон!» Бориса Ивановича тотчас под руки и увели. А принцу Алексей Михайлович сказал приятельски: «Не держи на дядьку моего сердца. Сам видишь, напился».

– Что же будет-то? – озаботилась Анистья Никитична.

– Ничего не будет, – засмеялся Прокопий Федорович. – Упрямство Морозова на вино списано. Говорил-то угодное и царю, и царевичу.

* * *

Когда помолились перед сном, Федосья сказала сестрице:

– Хороший человек Морозов, царевне хотел помочь. Другие-то помалкивают.

Дуня вздохнула:

– Все теперь спать легли. И все сами по себе...

– А что бы ты хотела? – спросила Федосья.

– Хотела бы с царевной Ириной Михайловной быть. Хотела бы Бориса Ивановича Морозова послушать. Хотела бы на датского принца поглядеть.

– А на царя?

Дуня снова вздохнула:

– Царь он царь, царя на всех не хватит, чтобы каждому-то на погляд.

– А с крестьянами нашими хотела бы побыть?

– Хотела! Со всеми! Со всеми, кто живет на земле.

Федосья думала долго, а Дуня не спала, ждала, что скажет старшая сестрица. И Федосья сказала:

– Ах, Дуня! Наверное, на том свете все люди друг с другом, а на земле всякий человек сам по себе.

– Давай пожелаем кому-нибудь сладкого сна! – придумала Дуня. – Сладкий сон, приходи к царевне Ирине!

Федосья подхватила:

– Сладкий сон, приди к Марии!

– Это кто?

– Маша Милославская, помнишь, приезжали? Старшая дочка Катерины Федоровны. И вот еще кому скажу: «Сладкий сон, приди к царевичу Алексею».

Федосья затаила дыхание, ожидая, кому сладкого сна пожелает Дуня, а Дуня уже посапывала: ей снился луг, на лугу цветы, а в небе жаворонок.

Царевич

Осенью в Москве зима всякую ночь у порога. Снег лег на Параскеву-порошиху, сразу же установился зимний путь.

В декабре морозы уродились трескучие. С морозами сжились, январь перетерпели, а там уж снежень и бокогрей февраль. Солнце веселое, в небе синие полыньи, в сердце – весна, и подснежники вот они!

В конце февраля в Москву приехали казаки с Дона.

Казаков царь к руке допустил, угощал, дал жалованье, а донцы в первый же день московской жизни немца ограбили – дворянина из свиты королевича Вольдемара.

Грех, а Москва обрадовалась. Датский принц, отмахнувшийся от веры православной, от родства с царем, обидел народ. А спесь немецкая удержу, знать, не ведает.

1 марта – в день своих именин – Евдокия Лукьяновна, государыня-царица, прислала принцу-графу, по обычаю русских царей, праздничный обед. Вольдемар к царицыным вельможам не вышел, принял дар матушки-государыни дворецкий.

1 марта у Соковниных тоже праздник, своя Евдокия подрастает. Батюшка Прокопий Федорович воротился со службы из Кремля с царицыными пирогами для Дуни, но уж очень хмурый. Казаки опять подрались с немцами. Нехорошо, кроваво, двоих слуг Вольдемаровых саблями зарубили.

В городе беспокойно, однако именинницы ради Анисья Никитична поехала с дочерьми помолиться в Андроников монастырь. Сей монастырь ставил князь Дмитрий Донской. Был монастырь не только домом молитвы, но и стражем Калужской дороги. Дорога сия – татарская сакма, отсюда ждали ханских набегов.

В белокаменной церкви монастыря сиял золотым окладом, но более золота – святостью нерукотворный образ Христа, принесенный из Царьграда митрополитом Алексеем. Сама же церковь расписана иноками Андреем Рублевым и Даниилом Черным.

Отстояли Соковнины обедню, но только в конце службы увидели царевича Алексея. Наследник прикладывался к иконе Спаса, а Федосья в это же время ставила свечу. Царевич чуть было не столкнулся с отроковицей.

Федосья выставила перед собой ладони, наследник это увидел, признав себя виноватым в неловкости. В глазах царевича отразилось любопытство и ласковое недоумение.

– Кто это? – спросил он молодого Ртищева.

– Не знаю, государь.

– Глаза-то уж очень серьезные. Подросточек, а молится усерднее монахини. Слышал, как она «Отче наш» читала? Я глазами туда-сюда, инокиню ищу, а она ладони выставила, чтоб со мной не столкнуться, то ли свет с ее лица, то ли от ладоней меня будто в серебро окунули.

Слухменная Федосья слышала эти странные слова царевича о самой себе. Екнуло сердечко, но все обошлось.

Именинницу Дуню благословил игумен, подарил ей серебряный в четыре дюйма образок Спаса Нерукотворного, Дуня возвращалась домой счастливая. А как поехали, заснула. Санная езда сладко кружит голову.

Матушку Анисью Никитичну сон сморил тоже очень скоро, а Федосья все смотрела. На снега, на терема, на церкви, но видела перед собой наследника. Алексей был ее старше на три года, Федосья знала – 19 марта ему исполнится шестнадцать лет. Однако ж он выглядел добрым молодцем. Плечи широкие, роста – выше бояр и челяди, кто был с ним в монастыре. Лицо удивительно чистое, белизна лица матовая, а румянец нежный, девичий.

Ведь был совсем рядом! Глянул зорко, а вот какого цвета глаза – не поняла или тотчас забыла. Не разглядела! Он смотрел так, будто читал по лицу, по ресницам. Глаза-то она опустила. Посмелее бы на него посмотреть, тоже что-нибудь прочла...

Птиц отпущенье

На Благовещенье приезжали к Анисье Никитичне Милославские – Катерина Федоровна, Мария Ильинична, Анна Ильинична. Ради праздника, но и по делу: взять денег взаймы.

Илью Даниловича великий государь отправлял послом в Царьград к турецкому падишаху Ибрагиму, вместе с ним ехал дьяк Леонтий Лазоревский.

Послы везли жалованье донским казакам, две тысячи рублей. Деньги нужно было отдать тайно, чтоб о том турки не узнали.

Везли также соболей на подарки: великому визирю Мустафе-паше – десять сороков, восемь переводчику Зульфикару-аге, а также пашам и приказным людям, которые могут сослужить добрую службу. Пять сороков соболей тайно нужно было передать патриарху Константинопольскому Парфению. В наказе говорилось: «Если патриарх Парфений умрет, то к новому патриарху приходиться надо нечасто и не советоваться с ним о государевых делах. Если благочестив, соболей ему отдать. Если еретик – не давать и под благословение к нему не идти. Патриархам Александрийскому, Иерусалимскому царь жаловал по четыре сорока соболей. Была учтена и милостыня в святые места – двадцать сороков соболей. Для всяких государевых дел и на выкуп пленных послы везли соболей на тысячу пятьсот рублей и для покупок – три тысячи. Пленных дворян и детей боярских за двадцать рублей. За пятьдесят самое большее. Стрельцов, казаков, чернь за десять – двадцать рублей. Ехал Илья Данилович за море на службу непростую, царю нужную.

В иноземном путешествии лишних денег не бывает. Свои тоже надо иметь. Восточные ткани в Москве ценятся очень высоко, да и камни драгоценные и жемчуг в Царьграде много дешевле, нежели в Москве. Речь не о выгоде, Марии Ильиничне приданое готовить самая пора.

Разговоры денежные у матерей долгие, а в молодых головах уже кутерьма весенняя.

Молодым дома скучно. Благовещенье – самый большой праздник у Бога, на Благовещенье грешников в аду не мучают. А тут еще дымком потянуло, сладким, хлебным.

– Дворовые люди зимние постели жгут! – улыбнулась Анисья Никитична.

– Матушка! Мы хотим пойти птичек на волю отпустить! – попросилась Федосья.

– Птички, которые волю получают, за весной слетают, приведут ее поскорее! – сказала радостная Дуня.

Аннушка Милославская тоже запросилась на птичий базар. Девиц отпустили.

Федосья, Анна, Дуня с дворовыми людьми пошли птиц на волю отпустить. Мария осталась за столом.

Возле храма, где шумел, кипел птичий рынок, встретили батюшку Дормидонта с матушкой Анфисой, с их чадами. Чада прямо-таки горох – шестнадцать душ. Старшей поповне было как раз шестнадцать, старшим поповичам тринадцать и двенадцать. Тройне девочек по девяти лет, двойне мальчиков – по семи, второй двойне, опять же мальчиков, – по шести, еще одной тройне – две девочки и братец – по пяти. А дальше мальчик-трехлеточка, младшей девочке – полтора года и последыш на руках матери, младенец.

Федосья считала денежки, чтоб купить птичек на всех: на батюшкину ребятню, Анне, Дуне, себе, но тут пошло в народе сильное движение, и к храму вышел наследник Алексей с сокольниками, а у сокольников клетки с птицами.

Увидавши кучу детишек-поповичей, царевич обрадовался, подошел, принялся раздавать птиц. И дворяночек наградил. Дуня получила кобчика, Анна – чижа.

– А нам осталось по зяблику! – сказал царевич, подавая птицу с атласными перышками Федосье. И обрадовался: – Я ведь тебя знаю!

А в глазах вопрос: не мог вспомнить, где виделись. Да как засмеется!

– Спас Нерукотворный?

– Чудотворный Спас! – просияла глазами Федосья.

Царевич подошел к отцу Дормидонту.

– Ради праздничка, батюшка, благослови!

– С Богом и к Богу! – Попу Дормидонту дали белого голубя, и у матушки был такой же белый.

Батюшка поднял руки, отпуская птицу. И тотчас в небо взлетела, радуя народ, счастливая стая вольных.

Кто-то в толпе сказал, вздохнувши:

– Вот бы этак крепостных мужиков отпускали!

Царевич глянул на толпу, но промолчал. Принялся дарить поповским детишкам монеты.

Когда ушел, матушка собрала царское подаяние. Трое старших получили по четверти ефимка, все остальные по алтыну. А вот меньшому, что спал у матушки на руках, был даден полный ефимок.

Тут Федосьяхватила кошелек с деньгами.

– Да где же он?

Поискали на земле.

– Ветра в поле ищешь! – сказал батюшка Дормидонт. – В Благовещенье воры заворывают на счастье всего года.

– Порадоваться, что ли, за них? – спросила Федосья батюшку.

– Греховодники, – махнул рукой батюшка, – но Господь их не казнит. На земле есть место и овце, и волку.

– А ты где царевича видела? – спросила Анна.

– В Андроновском монастыре.

– Маша пожалеет, что не пошла с нами.

– Почему?

– Царевичу скоро шестнадцать. Через год или через два жену будет выбирать из девиц.

Лицо Марии Ильиничны и впрямь затуманилось, когда услышала о наследнике. А Катерина Федоровна даже руками всплеснула.

– Сами от счастья своего отворачиваемся. Господи, прости меня, грешную.

У Дуни в глазках звездочки сияли.

– Мне царевич дал грозную птицу – копчика. Я видела, мой копчик выше всех взлетел.

– А мне государь зяблика дал. У него тоже был зяблик! – простодушно улыбалась Федосья.

– Зяблики-певунчики! – сказала Анисья Никитична. – В лесу-то сладко свистят. Все лето не умолкают.

Украденных денег не пожалела.

– Деньги были птичьи. Вот и упорхнули. Какого-то ловкача порадуют. Ну и ладно!

Тяжкие думы

Он устал, поднимая руку до уровня глаз, дышал, как в гору шел. Пальцы растопырены, толстые, дутые, рука бесформенная.

– Как же я медведя-то на рожон посадил?

Лекари говорят: водянка. Тело немощно оттого, что много сидел.

– Тридцать лет с годом сидел, – сказал Михаил Федорович немцам-докторам, хотя их не было в опочивальне. – В царях я сидел.

Мало кто поймет, что это такое – сидеть в царях тридцать лет с годом. В России!

Жить Михаилу Федоровичу стало уж очень тяжело, но помирать нельзя. Коли в царях, помирать не ко времени. Дочь замуж не в силах выдать.

Услышал шаги, уронил руку.

– Кто?

– Твой раб, государь. Борятко Морозов. Лекарство пора пить.

Борис Иванович был дворецким у Алексея, но Михаилу Федоровичу без Бориса Ивановича совсем лихо. Чуткий человек, все знает, и знает хорошо. На Бориса Ивановича оставить царство не страшно. За Алексея не страшно. Алеша уж очень молод. Когда самого-то на престол посадили, рядом такого, как Борис Иванович, не имелось. Отец был жив, но отца держали в плену, в Польше.

Лекарство принес врач, отпил глоток, дал отведать Борису Ивановичу. Дошла и до царя очередь. Полечился.

Поменяли подушку. Прохладная.

– Борис Иванович, принеси письмо графа! – С этого самого письма государь взялся именовать королевича Вольдемара графом. Он и вправду граф – первого января. Дерзил бесстрашно.

Борис Иванович принес письмо.

– Читай! – повелел великий государь.

Прочитал.

Граф свою злобу в вежливые слова не изволил прятать. Я-де царского рода, а потому тебе, русский царь, не холоп! И слуги мои – мои слуги, они-де тоже тебе не холопы, царь Московский. Но хоть ты царь и называешь себя православным, а поступаешь, как неверные турки и татары. Так знай же! Свою свободу я буду отстаивать силой, хотя бы пришлось голову потерять.

– Будем отвечать-то?

– Сто раз ему все сказано, великий государь.

– Сто раз, – согласился Михаил Федорович. – Я ему в глаза говорил: «Отпустить тебя, граф, невозможно. Твой отец, его величество король Христиан, прислал тебя состоять в нашей царской воле и быть нашим сыном. Но свадьбы совершить нельзя, покуда ты останешься в своей вере». – Царь замолчал, задохнулся. – Помнишь, как он ответил?

– Помню, ваше величество. Резанул, как саблей: «Лучше я окрещусь в собственной крови».

– А мы ему Суздаль подарили...

– И Ярославль, и Ростов. Приданого за государыней-царевной обещано триста тысяч рублей.

Царь смотрел в потолок.

– По порядку будем думать. Лихачева с тайным словом к графу мы посылали...

– Посылали, великий государь. Сказывал, что в Москву мчит гонец польского короля, хочет царевну Ирину сватать.

– Не напугали графа. Мне говорили, очень он смеялся Лихачеву в глаза.

– По молодости, – обронил Борис Иванович. – По молодости. Однако ж...

– По порядку пойдем, – напомнил царь. – Посол польского короля говорил с графом, что веру православную принять ему зело выгодно. Говорил, что я даю в придачу к Суздаю, к Ярославлю, к Ростову – Новгород и Псков? Говорил посол графу, что, коли будет упираться, пошлю войско на помощь Швеции против Дании, а самого его в Сибирь сошлю.

– Великий государь! Великий государь!

Борис Иванович заплакал.

– А я не плачу, – сказал Михаил Федорович. – Жить не хочу. Что теперь-то?..

– На четвертое июля будет спор о вере.

– Спорили, – Царь глаза закрыл. – Пастор Матвей Фильхабер будет свое говорить, нашего не слушая. Ключарь Наседка да князь Дмитрий Далматский наше станут хвалить.

– Наше-то – от Бога! – воскликнул Борис Иванович.

– Если от Бога, значит, спорщики никудышные. Пастор дело говорил: когда царское величество заведет в своем государстве школы и академию, тогда вы узнаете, что значит быть ученым и неученым...

– Принесло их в дверь, вынесет в трубу! – в сердцах вырвалось у Бориса Ивановича.

Сказал и обомлел, но царь молчал. Собрался дворецкий с духом, глянул, а Михаил Федорович спит, все морщины на лице разгладились.

«Что-то он решил окончательное», – подумалось дворецкому.

Весна в сердце

Зеленое, нежное до сладкой слезы разлилось по земле, достигая окоемов. Окоемы-то – сказка синяя, леса нехоженые. Лес и древность – одно слово, а вот зелень лугов, счастливые зеленыя поля, пережившие зиму, были уж так молоды – сама весна.

У Федосьи, забредшей в пойму, складные слова с губ слетели:

– Буду я красна, как сестрица-весна!

Засмеялась. Уж очень просто с весной породнилась.

И вдруг сердце сжало, да крепко. Не лапой, не когтями, а будто тьмой. Подняла голову. Тьма и есть. С той стороны, где солнце встает, – черная туча птиц. Воронье. Летят – не каркают, будто затаились, будто нагрянуть собирались неожиданно-негаданно.

– Матушка! Родненькая! – в испуге вскрикнула Федосья.

Крестным знаменем себя осенила. Вот ведь грех нечаянный. Не Бога вспомнила – начало начал, мать родную. А птицы – сетью.

– Куда же это они? Да сколько же их!

Поглядела на солнце, ресницы не смежая. Как правда на правду. Темно стало в глазах: на солнце, как и на Бога, человеку смотреть нельзя, да и невозможно.

Разум страху, однако, не поддался.

– Вороны – птицы такие же Божии, как соловьи, как зяблики. Весна! За зимой вослед летят. Дело ворон – прибраться за косматой старухой.

Ни с того ни с сего захотелось царевича увидеть. И Господи! Как же это так? Объяснить себе не сподобилась. Чего ради понадобился наследник? Оттого, что зяблики поют? Может, те самые: один царевичев, а другой ее.

Увидела толпу всадников. За рекой. Далеко. С ловчими птицами тешились. Отчего же не Алексей? С соколами охотиться – его страсть.

Удивилась себе. В голове все еще весна, а ведь Петры и Павлы. Проводы весны.

Вспомнила поговорку: «С Петрова дня зарница хлеб зорит».

Захотелось зарниц. Пусть бы и ее, Федосью, озарили. И Дуню. И Марию Милославскую. И Аннушку-смуглянку.

А за рекой скакал всадник. Его сокол убивал в небе большую птицу. Должно быть, гуся, а может, лебедя. С кафтана всадника – а кафтан-то немецкий – сверкали алмазы. Кто, как не царевич?

Федосья отвернулась от охоты. Из травы смотрел на нее синий колокольчик.

– Вызвони мое счастье!

И стояла. Звона ждала.

Присяга

К празднику Верховных апостолов матушка Анисья Никитична, дворовые мастерицы и подросшая для серьезной работы Федосья, ей в мае тринадцать лет исполнилось – вышивали серебром и шелком «плащаницу». Федосья трудилась над крылом Ангела, осенявшего учеников Христа. Ученики, их было трое, полагали во гроб своего равви.

Матушка вышивала лик Богородицы со слезою.

Петры и Павлы убавляют день на час, но солнышко все равно раннее, день нескончаемо долог. Соснуть перед негасимым вечером – дело мудрое. Недаром говорят: «Ляг да усни, встань да будь здоров! Выспишься – помолодеешь!» До сумерек хватало сил мастерицам.

Наработавшись, Федосья вместе с Дуней ходили на пруд лебедей кормить.

Было видно, как на хлеб сбегаются стайки пескариков. Лебеди к еде не торопились. Их было два. Они не плыли, а, приближаясь, словно подрастали. Царственные шеи опускали к воде без суеты, без стремления ухватить кусочек белого, сладкого хлеба поскорее.

– Я смотрю и глазами хлопаю, – призналась Дуня. – Мне чудится: будто лебеди – сон.

– Красиво. – Федосья тихонечко вздохнула. – Вот почему люди жить хотят.

– Почему? – не поняла Дуня.

– Потому что кругом нас мир Божий. Вода как зеркало. Зеркало, но живое. Небу дна нет. Небо тоже живое.

– В небе птицы живут! – сказала Дуня.

– Птицы летают по небу, а живут в глубокой глубине небесной звезды, луна и солнце.

– В высоте! – поправила сестрицу Дуня. – В высокой высоте. А еще выше – Бог...

– Рай, – согласилась Федосья.

Когда много сделано, игла и руки быстрые.

«Плащаницу» у Соковниных завершили на Давида-земляничника.

На праздник «плащаницу» выставили в домашней иконной комнате, чтоб все мастерицы могли поглядеть, как Бог дал им послужить славе Господней.

Федосья стояла с матушкой, с Дуней. «Плащаница» – строгая работа, но красота и в скорби подает надежду. Красота рождается в душе, душа – нетленная, красота – вечная.

– Матушка, ты слышишь? – спросила Федосья.

– Колокол?.. А ведь это Иван Великий... Это не к празднику звон...

Все пошли из дома, а за воротами на улице – народ.

– По ком звонят? Нынче день радости великого государя, день его рождения.

Прикатил из Большого дворца Прокопий Федорович.

– Молитесь! Царь Михаил отошел ко Господу.

Федосья убежала в сад.

Весь день небо синевой несказанной удивляло, а теперь неведомо откуда – дождь. Тихий, моросящий. Не из облака, из наволочи. Серой, гонимой ветром.

Пошла в келью. В келье любимая икона «Достойно есть». Богородица. Милующая.

Холопы затворяли ворота, в руках бердыши, на поясах сабли. Но всего войска – четыре человека.

Молилась Федосья Господу: да примет душу благочестивого царя Михаила. И Богородице: пошли, Благодатная, Москве тишину.

Маленькой девочкой она видела бунт. Бунт – это когда детей бьют дубьем по головам.

Просила Федосья Иисуса Христа наградить Божьей милостью молодого царя. Алексей стоял перед глазами в немецком кафтане, но лицом русский. Румяный, точно такой, каким видела на Благовещенье. Помнила взгляд царевича: не одарил собой, праздником поделился.

Ничего еще не сделал царству, Москве, народу, а уже ответчик. И не за улыбки свои, не за сдвинутые брови – за Россию. За жизнь земную.

У Федосьи пронеслось все это в голове, и она поскорее прочла молитвы, чтоб с Богом быть.

Скорбные колокола ударили во всех церквях московских.

Вечерело. Москва была сумеречная, опустевшая.

Прокопий Федорович взял обоих сыновей и поспешил в Большой дворец. На присягу царю Алексею Михайловичу. А в Кремле тоже пусто. Защемило под ложечкой старшего Соковнина. Не промахнуться бы!

Но купола соборов, как святые стражи, в шлемах золотых. Россия и царь – единое. Царь таков, какова Россия, а у России лик царя.

Первым присягнул великому государю Никита Иванович Романов, двоюродный дядя. Соковнины присягали в первой сотне, когда в Успенском соборе пустовато было. Но ночь все еще короткая длилась, и люди притекали сначала ручейком, а под утро началось половодье. Вся Москва пришла принять молодого царя себе в цари.

Сиротство царя

Хлопотал Борис Иванович Морозов, как птица над гнездом хлопотал. Господи, как же он всю жизнь завидовал правителям: Борису Ивановичу Черкасскому, Федору Ивановичу Шереметеву. Все Московское царство жило по их слову, по их уму. Были вельможи речистее, были деловитее, умнее гораздо, но кто из русских перечит царю? А прежний царь повторял слово в слово за Черкасским да за Шереметевым.

Свершилось! Алексею свет Михайловичу говорить словами Морозова, только не поспешить бы. Сразу-то на дыбы встанешь – голову отобьют. Чтоб землю из-под ног совсем не упустить, на четырех пока стоять нужно. Ничего, что поза неказиста. Борису Ивановичу пятьдесят шестой год, научили терпеть и ждать. Четверть века часа своего звездного ждал! Так ведь проще было! Ныне, когда вся Москва на поклон спешит, день – за год. Геенна огненная, а не жизнь.

Мимо приказов к нему идут, он слушает, но ничего не решает. Тихоней прикидывается, и все знают, что прикидывается. Он и не скрывает, что прикидывается, но власть пока что у старых слуг, у людей царя Михаила. Может, и не власть уже, но чины все у них.

Федор Иванович Шереметев – судья Стрелецкого приказа: войска у него; он же судья Приказа большой казны – деньги у него, у него Аптекарский приказ, а в приказе ведают царским здоровьем.

Во Владимирском Судном приказе сидит Иван Петрович Шереметев. В приказе творят суд над боярами, окольными, думными дворянами. В Разбойном приказе опять Шереметев, Василий Петрович.

Казанский дворец и Сибирский приказ у зятя Федора Ивановича, у Никиты Одоевского.

Все в родстве с Романовыми и между собой. Потому и не спешил Борис Иванович Морозов.

Правда, через неделю после смерти царя Михаила у приболевшего Федора Ивановича Шереметева, чтоб силы он свои драгоценные не распылял на малое, взяли Аптекарский приказ. Взяли, но никому не отдали: пусть до поры дьяки хозяйство ведут. Себе Борис Иванович ухватил невидный Иноземный приказ. Здесь ведали наемными офицерами. Сила небольшая, но команды слушает и тотчас исполняет.

Хлопотал Борис Иванович! Строил гнездо со всех сторон сразу, соломинку за соломинкой, но всегда у него было главное дело.

Пора было избавиться от датского принца Вольдемара!

Вот и напросился к их высочеству датскому принцу для наитайнейшей беседы.

Секрета ради пришел в Борисов дворец царским путем, переходами.

Королевич был хмур и заранее зол, но услышал неожиданное:

– Ваше высочество! Я слуга великого православного царя, и я спрошу тебя: готов ли ты креститься в православие, чтоб на радость Московского царства и всея России обвенчаться с царевной Ириной Михайловной?

Королевич сидел в деревянном кресле. Яростно грохнул кулаками по подлокотникам.

– Прости меня, ваше высочество! Я человек подневольный, потому еще спрошу тебя. Готов ли ты дать согласие на венчание с государыней-царевной Ириной Михайловной, ибо в час твоего согласия ты получишь города Суздаль, Ярославль, Ростов, Новгород, Псков, иные многие земли и тысячи рабов?

Королевич уши руками закрыл.

Борис Иванович стоял, молчал, улыбался. Вольдемар таращил глаза не хуже рыси. Борис Иванович сказал покойным голосом:

– Как только я услышу от тебя, ваше высочество, два слова: «Нет, не согласен» – я иду с ответом твоим к великому государю и буду приготовляться к твоему отпуску к отцу твоему, к его величеству королю Христиану... Скорбь по царю Михаилу Федоровичу не позволяет думать об отпуске ранее чем через месяц.

Заговорил-таки датский принц:

– Месяц траура закончится 12 августа. Я уеду 13-го.

– Будь по-твоему, – услышал королевич невероятное, – 13 августа будет тебе отпуск в Золотой палате. Приличия ради из Москвы уедешь через неделю, 20 августа.

У королевича слезы на глаза навернулись. Борис Иванович, улыбаясь, кланялся и отходил к двери. У двери остановился.

– Ваше высочество, из дворца тебе выходить не следует. Народ на тебя зол: нападут – не успеем отбить.

Закрыв тотчас дверь за собой.

Борис Иванович не собирался мстить принцу за давний свой позор, когда под белы руки выставили с пиршества. Говорил правду. Москва площадей собиралась постоять за молодого царя, за честь его и за честь всего царства.

24 июля на Красной площади и впрямь собралось немалое гульбище. Договаривались стоять едино и громко рассуждали, как добраться до гуся датского, чтоб шею свернуть ему насмерть. Заодно и всех немцев прибить.

Борис Иванович разогнать народ не посмел, но поспособствовал ближним людям Вольдемара слышать и видеть разгневанный народ. Выслал к Спасским воротам бояр, кои успели сбиться в партию друзей принца. Эти сговаривались посадить на престол истинного королевича.

Мудреная жизнь затеялась у Бориса Ивановича. Не дожидаясь, пока вся власть перелется из сосуда Шереметева в его сосуд, освобождался и от других охотников быть устами царя.

13 августа великий государь, отпуская принца датского восвояси, дал ему золота, соболей – и для бережения нарядил с ним до границы полторы тысячи детей боярских под воеводством боярина Василия Петровича Шереметева. А на проводах Вольдемара – не был. И Борис Иванович – не был.

18 августа преставилась вдовствующая царица Евдокия Лукьяновна: не осилила горестей – смерть драгоценного мужа, несчастная судьбина Ирины, печаль по обреченным на вечное девичество дочерям Анне и Татьяне.

Осиротел шестнадцатилетний самодержец, припал к Борису Ивановичу Морозову. Один он остался у него своим. А Борису Ивановичу в няньках сидеть времени нет. У государства норов неверный, отпустить вожжи на день – год будешь плакаться: в сторону умчит, а то и всю повозку расшибет вдребезги.

Дела правителя

Как помер царь Михаил, дня не было, чтоб дом боярина Бориса Ивановича Морозова без гостей.

Приезжали помянуть царя и царицу, привозили хозяину дома подношения: серебряные кубки, братины, шубы – собольи, рысьи, беличьи; сабли и ружья с чеканкой, в камнях дорожных, расшитые жемчугом пелены, кресты и зеркала. Гостя за дверь не выставишь. От скорби немочный – пошатывало – Борис Иванович принимал всех и подарки тоже принимал.

Наконец-то пробилась к нему и родственники, Леонтий Стефанович Плещеев и Петр Тихонович Траханиотов. Петр Тихонович приходился Борису Ивановичу шурином, а Леонтий Стефанович был шурином Петра Тихоновича.

– По бедности нашей двумя дворами один подарок едва осилили, – пожаловался Петр Тихонович, поднося с поклоном Борису Ивановичу святое Евангелие в золотом окладе с изумрудами.

Глаза Бориса Ивановича сверкнули ответной лаской. Такой оклад двух деревенок стоит. Ничего не сказал, подарок принял, поставил под образа, положил гостям руки свои маленькие, мягонькие на плечи, усадил за стол и перестал быть болящим.

– Поговорим, ребятки. Есть о чем поговорить.

Хлопнул в ладоши, велел подавать пироги. Сел в красном углу, локти на стол, подпер голову ладонями и как бы ухо выставил. Гости поняли: говорить будут они. И заговорили.

– О великомудрый отец наш, Борис Иванович, на тебя все наши упования! К тебе идем, как идут на свет ночные мотыльки! – так запел Леонтий Плещеев. Морозов не расцвел, но и не поморщился, слушал, чуть набычив круглую большую голову, бритую, в бархатной ермолке. – Отец наш, Борис Иванович, ты можешь нас выгнать из дому, но мы пришли сказать тебе правду истинную. Не только мы, вконец обнищавшие московские дворяне, – вся святая Русь глядит на тебя с надеждой и ждет от тебя деяний великих и крутых. Коли ты велишь нас всех кнутами перестегать, перетерпим. Лишь бы Россия была спасена от грабежа, самоуправства и глупости.

В лице Морозова никакой перемены, но ведь слушает.

– О господин наш, отец и учитель! – подхватил песню Петр Тихонович. – Может, мы по незнатности своей, по дикости, вдали от царского престола, мыслим дурно и ничтожно – тогда прости, просвети и наставь на путь! Но ведь, отец наш, попустительством сильных властей гибнут города, земля приходит в запустение. Нищие порождают нищих, но в наши дни уже и дворяне плодят не дворян, а опять же нищих.

– За взятку в судах могут засудить самого Господа Бога, прости меня, Всевышний, за святотатство, но это так! – воскликнул Плещеев. – Святые монастыри скупают лучшие земли. Городской посад разорен вконец. Люди, несущие тяжесть податей, закладывают себя патриарху, боярам Шереметевым, Стрешневым, лишь бы освободиться от тягла. И вот, глядишь, уже не сто дворов, а пятьдесят несут непосильный груз поборов и всяких общинных и государственных служб. А тяглецы все бегут! Чего дожидаться? Или близкие к царю Михаилу люди позабыли годы смуты?

Морозов молчал.

– Есть одно средство от безудержного бунта черни, – сказал Плещеев. – Родовитейшие должны поделиться властью с дворянами.

– Посад нужно укрепить, – провозгласил Траханиотов. – Всякий бунт, как уголек в печи под золой, в посадке таится. Надо людям передых дать. Устроить по-доброму посад – совершить для всей России благодеяние. И казна будет полна, и люди будут сыты, одеты и довольны. Пока же у нас довольны девятнадцать родов, кои получают боярство, минуя чин окольничего.

– Покушаем пирогов, – предложил Морозов и стал расхваливать своего повара.

Хвалил до конца трапезы, до проводов гостей.

– Каков повар – таково и блюдо, – сказал родственникам на прощанье, – однако без приправ и повар бессилён. Была бы приправа по вкусу.

Велел слуге завернуть пирогов гостям, а сам пошел одеваться в праздничное платье: в Кремль ехать.

В Кремле пошел в Благовещенскую церковь, к протопопу Стефану Вонифатьевичу.

– Что же ты, отче, в Москве? – удивился боярин. – Твой духовный сын перед венчанием на царство оставлен без мудрой поддержки духовного отца!

– Оттого и в Москве, что готовимся к венчанию! – ответил Стефан Вонифатьевич. – С государем в дружках идет чистый помыслами отрок, сын Михаила Алексеича Ртищева, Федор Ртищев.

– Поезжай, отец, к Троице. Молодой царь должен в духовнике своем друга зреть. Пока большая мутная вода весны царствования не опала, надо быть рядом с царем. Он это оценит, если не теперь, по молодости, то позже.

Через час протопоп был уже в дороге, а Морозов – в кремлевской башне пыток.

Возле входа Борис Иванович встретился с князем Шаховским. За спиной князя, как ангелы-хранители, – стрельцы.

– Здравствуйте, князь Семен Иванович! – поздоровался Морозов и первым нагнул голову под низкие каменные своды.

– Здравствуй, боярин Борис Иванович! – уже в каменной башне ответил на приветствие Шаховской.

– Садись! – кивнул Морозов на лавку и сам сел.

Палачи деловито раскаливали на огне инструменты.

– Лето, а холодно здесь у вас, – поежился боярин.

– Кому холодно, кому жарко, – возразил палач и поглядел на Шаховского. – С кого начинать будем?

– Бердышева-мурзу веди и бабу веди.

– Обоих сразу?

Морозов повторять приказаний не любил, повернулся к Шаховскому.

– Как хлеба-то у тебя, Семен Иванович?

Шаховской глядел на раскаленные добела щипцы.

– А?!

– Хлеба уродились, говорю?

– Хлеба? – Шаховской уставился на Морозова. – Какие хлеба? Какие еще хлеба?!

– Вотчинные... У меня в Мордовии все погорело.

– Не помню, – сказал Шаховской, – ничего про хлеба не помню.

– В московских селах нынешний год благодатный. А дыни какие вымахали! Ты сажаешь дыни?

– Дыни?! – Шаховской вдруг икнул.

– Кваску принеси нам! – крикнул Морозов стрельцу.

Палачи ввели несчастных. Посадили на лавку. Морозов, слушая, как стучат у Шаховского зубы о край квасного ковшика, повздыхал, перекрестился.

– Служилый человек, мурза Бердышев, говорил ли ты такие слова?! – вдруг закричал он пронзительно. Ковшик у Шаховского выпал из рук, квас пролился, ковшик закрутился на каменном полу. – Говорил ли ты: «Посадить бы на государство королевича датского! Не быть бы Алексею Михайловичу на царстве, когда б не Морозов»?

Палачи вытолкали и поставили перед Морозовым маленького, исполосованного кнутами татарина: тот заранее закусил губы, ожидая побоев.

– Плети ему были, – сказал старший палач. – Огнем его теперь надо.

Подручные тотчас схватили мурзу, связали руки-ноги, кинули на пол, огненное крокодиле рыльце щипцов вцепилось в ребро.

Визг, судороги, вонь сгоревшего мяса, ведро ледяной воды на голову.

– Говорил ли ты... – начал спрашивать Морозов.

– Говорил! Ради истины говорил! Московский царевич – подметный. Подметный Алексей! Подметный!

– Еще ему! – Морозов тронул Шаховского за колено. – Вот ведь сами просят!

Опять вой, паленое мясо. И стук головы о каменный пол. Утащили мурзу в подвал, чтоб отлежался.

– Ну а ты что говорила? – повернулся Морозов к бабе, вцепившейся от ужаса в лавку ногами-руками, пустившей лужу под себя.

– Батюшка, только не жги! За другими повторяла! Слово в слово – за другими.

– Что же ты говорила?

– А говорила: «Глупые-де мужики, которые быков припущают к коровам от молоду, и коровы-де рожают быков. А как бы припущали-де на исходе, ино рожали все телицы. Государь-царь Михаил женился на исходе, и государыня-царица рожала ему царевны, а как бы государь-царь женился-де об молоду, и государыня бы царица-де рожала всё царевичи. Царь Михаил хотел постричь царицу Евдокию Лукьяновну в черницы. Тут она велела подложить себе в постелю мальчика. И царевич Алексей подметный, стало быть».

– Плети ей были, – сказал палач, – двенадцать плетей.

– Для вразумления еще двенадцать.

Опоясывающий удар кнута сорвал бабу с лавки на пол. Палач бил, словно хотел рассечь тело пополам.

– Потихе! – поморщился Морозов.

Бабу утащили очухиваться.

Пот заливал белое лицо князя Шаховского. С висков текло по бритым щекам, из глазниц бежали ручейки на усы, с усов по шее, капало с кончика носа, даже с мочек ушей капало.

– Не приведи господи! – почти прошептал Морозов. – Ведь как бьют! Боже ты мой, как бьют! И не скажешь палачу: умерь ярость. Палач государеву службу служит.

Шаховской закрыл глаза.

– Борис Иванович, ты не гляди, что от страха я мокрый весь. Самому гадко. Как мышь мокрый. Только ведь, Борис Иванович, я князь. Я княжеского звания на пытке не уроню!

– Семен Иванович, о каких пытках ты говоришь? – изумился Морозов. – Не враг же ты государю, чтоб от него таиться? Скажи, будь любезен, отчего ты так прилепился сердцем к датскому королевичу, зачем добра ему хотел, какой корысти ради?

Шаховской обмяк, привалился спиной к холодной стене.

– Все, что я скажу, Борис Иванович, ты и сам знаешь. Прилепился я к Вольдемару не ради какой корысти, а по повелению царя Михаила.

– Врешь, Семка! – вдарил ладонью по лавке Морозов.

– Не вру. А то, что по сердцу была мне эта служба, – не скрою. По нраву мне заморская ихняя жизнь. Царь Михаил перед самой смертью умыслил оставить королевича Вольдемара в Москве без перекрещения.

– Писарь, ты записал?

В темном углу зашевелилось.

– Записал, боярин.

– От пытки ты себя избавил, князь Семен. – Морозов встал с лавки. – Однако ж показания твои еретические. Оболгал ты покойного царя, князь Семен. За то тебя к сожжению приговарят, да царь у нас милосерден, не допустит злой казни.

И, не отдавая никаких приказаний, Морозов выскочил из башни вон – торопился к другим делам.

Царь и Никон

В Троицкую лавру Алексей и Федор Ртищев пеши странствовали.

Встречали царя колокольным звоном, вся братия монастырская вышла ему навстречу. Среди встречающих был и Стефан Вонифатьевич, протопоп кремлевского Благовещенского собора.

На другой день Стефан Вонифатьевич шел с царем Алексеем и с товарищем его, молодым Ртищевым, к заутрене. Начиналась неделя молитвенного усердного труда. Был Стефан Вонифатьевич весь в себе, не видя благолепия церквей, земной осенней красоты, боярынь с кралями-девками, прикатившими в лавру поглядеть на молодого неженатого царя, но прозрел вдруг перед старичком-уродцем. Сидел старичок на нижней ступени паперти, никак не мог лапти обуть: вывернутые руки до ног не доставали.

Протопоп кремлевской церкви встал вдруг перед уродцем на колени, бул его и поцеловал братским Христовым поцелуем.

– Благодарю тебя, Господи! – воскликнул царь Алексей, глядя на деяние протопопы. – Благодарю тебя, Господи, что в церкви моей такие пастыри, великомудрые и паче того смиренные.

– Великий государь, – заплакал протопоп, – не хвали ты меня, бога ради! Смирение должно прорасти в человеке так же естественно, как растут его власы. Если же оно прорастает от ума, в надежде на похвалу вельможи, или в назидание, а того хуже – в порицание гордому, то золото благодеяния тотчас покроется медной прозеленью.

Сурово звучали слова протопопы, но Алексей приник к нему, и оба они поплакали, и Федя Ртищев плакал на коленях, лобызая ступени святого храма.

По окончании службы царь прикладывался к иконам. Долго стоял перед «Троицей» святого отца живописного мастера Андрея Рублева. За великую радость и красоту икон своих удостоился Рублев святости, было это дорого Алексею, ибо видел, за что человек свят.

В лавре Алексей Михайлович встретил игумена Кожеозерского монастыря, подвижника Никона.

Никону было сорок лет, самое время или крест на себе поставить, или, коль жажда жжет, схватить бычка, имя которому Власть, за ноги и влачиться, покуда вытянет или растопчет.

– Государь, – говорил Никон, запустив пятерню в густую, росшую сосульками бороду, – ты и без нас ведаешь: людишки твои, забыв Божий страх, предаются мерзостным увеселениям, монахи ищут роскоши, попы не знают грамоты и несут с алтарей такую дичь, что волосы встают дыбом. Спасать нужно мир от соблазнов! Спаси его, государь!

– Но что же я могу? – разводил беспомощно руками напуганный Алексей.

– Государь! Церковь Христова, вооружась именем Господа, одолела идолов римских и славенских. Привести дом в порядок – не заново строить, одним веником справимся.

– Ты прошлый раз говорил, мало святых у нас, своих, русских.

– Мало, государь! Мало!.. А почему бы, наприклад, мощи московского митрополита Филиппа, погибшего от руки исчадия Малюты Скуратова, не возвеличить? Государь, я бы сам за теми мощами пешком пошел и на себе принес. Мощи Филиппа московского ныне на Соловках. Много исцелений и чудес от них молящимся.

– За какую провинность Малюта Скуратов убил святого отца? – Алексей спросил, а глазами в пол: ему стыдно за великого царя. Странная память в народе о кровавом неистовстве Ивана Грозного, но отец, царь Михаил, держался за тонкую ниточку родства и сыну завещал напоминать при случае о великом родиче.

Иван Грозный первым браком был женат на дочери окольного – Романа Юрьевича Захарьина, Анастасии. За тринадцать лет жизни с нею у Ивана родилось шестеро детей;

царевны Анна, Мария, Евдокия умерли во младенчестве, нелепо утонул по дороге из Кириллова монастыря шестимесячный первенец Дмитрий. Царевич Иван был смертельно ранен отцом, выжил последний ребенок, хилый Федор. Царь Михаил был сыном Федора Никитовича Романова, племянника Анастасии.

– О государь! – воскликнул Никон, готовясь отвечать на трудный вопрос. – Потомкам ли судить прашуров? Но грехи прашуров отмаливать потомкам. Великий твой прадед Иван Четвертый призвал Филиппа из Соловецкого монастыря, где Филипп устроил каменные соборы, келии, соединил каналами озера, построил гавань и лады. Филипп, придя в Москву, был истинным пастырем овец Христовых. Но он не пожелал благословить опричнину. Когда царь явился в Успенский собор с опричниками, митрополит не заметил царя. Кто-то из опричников закричал на него: «Владыка! Государь перед тобой. Благослови его!» На это митрополит Филипп ответил: «Государь, кому подражаешь, облекшись в такую одежду?» А царь ходил в те дни в монашеской рясе. «Ни в одеждах, ни в делах не видно царя! – воскликнул Филипп. – У татар и язычников есть закон и правда, а в России нет правды... Мы здесь приносим бескровную жертву, а за алтарем льется невинная кровь христианская». Так сказал митрополит царю. «Теперь вы у меня вззоете!» – затопал в ярости ногами царь Иван и низверг Филиппа с его престола. Самого не убил, отправил в Тверь, в монастырь, но убил десятерых Колычевых и поднес в подарок Филиппу голову любимого племянника.

Никон замолчал, перекрестился, зашептал молитвы.

Было поздно. За окошком, как больной зуб, ныл ветер. Хорошая погода кончилась утром. Дождь ворочается за стенами, словно живой, шуршит, шипит. Бьются друг о друга голые сучья яблонь. Стучат, бедные, как нищенки, просят от непогоды в тепло.

Алексей оправил пальцами свечу. О больших делах он любил говорить при одной свече.

– Я знаю, – сказал он, – прадед мой грешен, я молюсь за спасение души его.

– Нужно восстановить справедливость! – Глаза у Никона засверкали. – Нужно вернуть митрополита Филиппа на его законный престол. Нужно его мощи перевезти в Москву.

– Спасибо тебе, святой отец, за доброе, мудрое слово! – Глаза Алексея тоже светились. – О Господи, будет ли прощено царю Ивану за его кровопролитие! Но ты не сказал, почему убил Малюта святого отца?

– Царь Иван наказал гневом Новгород Великий. Новгородского митрополита он приказал женить на кобыле, детей привязывали к матерям и бросали в воду с башен. Царь Иван убивал тысячу человек в день... Потом он опомнился и послал Малюту к Филиппу, чтоб тот дал царю благословение. Филипп не дал благословения, и яростный Малюта задушил его.

Алексей и Никон, затаившись, слушали, как трещит свеча.

Сидели не двигаясь, но их тени на стенах и потолке трепетали – страшные, дикие времена случались на Руси.

Венчание на царство

Владимирскому и Московскому государству и всем государствам Российского царства, всем городам, княжествам, землям и всем народам указано было 28 сентября, на память преподобного Харитона-исповедника, работы никакой не работать, дела никакого не промышлять, колодников отпустить на все четыре стороны, всем пить вино, гулять и славить царя. 28 сентября Алексей Михайлович Романов венчался на царство.

Торжества начались 27-го всенощной в соборной церкви Пресвятые Богородицы, честного и славного ее Успения.

Служил всенощную патриарх, святейший Иосиф.

Назавтра, в два часа дня, Алексей Михайлович перешел из хором своих в Золотую палату и приказал созвать всех бояр, а воеводам и чинам быть в сенях в золотом платье.

Это и был «собор» Морозова. Священство и весь синклит: бояре, окольничие, думные дворяне, дворяне московские и дворяне городовые и гости, приглашенные участвовать в венчании на царство, поставили подписи под бумагой, сочиненной Борисом Ивановичем, и это было «избраением» царя.

А вот венчание было торжественным и долгим.

В Успенском соборе хор встретил царя «многолетием». Алексей молился, целовал многоцелебную ризу Иисуса Христа, прикладывался к мощам, принял благословение патриарха. Святейший Иосиф дрожащими от старческой немощи руками окропил царя святой водой и велел архиерею начать молебен Живоначальной Троице и Пресвятой Богородице да Петру, митрополиту Московскому, чудотворцу, и преподобному отцу Сергию.

После молебна царь и патриарх сели на свои места в чертоге. Справа от царя стояли бояре, слева – духовенство.

Воцарилось молчание.

Царь встал, улыбнулся и, улыбаясь кротко, смиренным голосом заговорил, все время отыскивая и находя сочувственные глаза:

– Апостольских престолов восприемницы; святые истинные православный веры греческого собора столпы, пастыри и учителя Христова словесного стада, богомольцы наши: пречестнейшие и всесветлейшие о Боге, отец отцам и учитель Христовых велений истины; столп благочестия, евангельские проповеди рачитель, кормчий Христова корабля святейший Иосиф, патриарх Московский и всея России, и преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы и весь священный собор, и вы, бояре, и окольничие, и думные люди, и дворяне, и приказные, и всякие служебные люди, и гости, и все христолюбивое воинство, и всего великого Российского царства православные христиане...

Все это витиеватое Алексей говорил бездумно, не вникая в смысл, но в глазах его затрепетал ум, а слово стало сильным, когда помянул, что он, Алексей, наследник Рюрика, святого Владимира Святославовича, Владимира Всеволодовича Мономаха, греческого императора Константина Мономаха, помянул деда своего, царя Федора Иоанновича.

Глаза Алексея смотрели теперь поверх голов, голос звенел, взлетал, но не срывался.

Отвечал Алексею патриарх Иосиф.

Засидевшись, он ерзал на своем стуле и никак не мог встать. Наконец, повиснув на патриаршем своем посохе, разогнулся и, не в силах унять дрожи старческих синих рук, трясая головой, раскашлялся, но когда заговорил, то будто спала с него обуза лет.

– О Богом дарованный! – воскликнул Иосиф сильным бархатным голосом. – Благочестивый и христолюбивый, изрядный, сиятельный, наипаче же в царях пресветлейший великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея России самодержец!

Кончив речь, патриарх послал за Животворящим Крестом; его принесли на золотом блюде Серапион, митрополит Крутицкий, да Маркел, архиепископ Вологодский. Блюдо у них приняли митрополиты Афоний Новгородский да Варлаам Ростовский. Патриарх трижды поклонился кресту, поцеловал и благословил им царя Алексея.

После молитв и малой ектении патриарх послал двух архимандритов и игумена за бармами. Бармы приняли архиепископы Суздальский, Рязанский и епископ Коломенский.

После возложения на царские плечи барм и молитвы патриарх послал за венцом. Шапка Мономаха – это золотое кружево на гладком золотом поле. Восемь кружевных лепестков тульи уходят под золотой стоянец, на котором в золотой же оправе рубины и изумруды, сам крест прост, четырехконечный, гладкий, с тяжелыми каплями на концах.

Патриарх поднял венец над головой Алексея. Алексей закрыл глаза, ибо вот оно, мгновение, о котором он знал только, что оно когда-нибудь должно произойти. Когда-нибудь, а оно – вот оно! Оно – теперь!

Мягкий мех соболя коснулся головы, и тотчас голову сдавил обруч тяжести. Шапка и впрямь нелегка была.

Патриарх поклонился венчанному, и Алексей, чуть приподняв руками венец, ответил поклоном. Последний раз в жизни царь обнажил перед человеком голову.

Когда в руки ему вложили: в правую – скипетр, в левую – яблоко державы, он поклонился патриарху одними бровями, свел и опустил, ибо вся земная власть была в его белых руках и никто в России не мог и в мыслях поставить себя рядом с ним.

Пели «многая лета», и все поклонились новому царю – сначала духовенство, потом бояре, окольничие и прочая, прочая...

Патриарх сказал Алексею поучение:

– Всех же православных христиан блюди и жалуй. И попечение имей о них от всего сердца, за обиженных стой царски и мужески.

Царь кивал головой и улыбался. Было радостно: чин постановления на престол удался, никто ни в чем не ошибся, не замешкался, в животе не теснило, боярского подвоха бояться не надобно, потому что он царь венчанный – от Бога, теперь им надо бояться.

Солнце сияло, потеплело даже. Вся Москва – праздничный стол. Все хорошо!

А по кривым улочкам под трезвон колоколов расползлся шепоток – не настоящий царь, подметный. А настоящий, сын царя Василия Шуйского, в бегах, от сына Морозова едва-едва утек.

* * *

Светский царский праздник начался сразу же по выходе царя из Успенского собора. В дверях Никита Иванович Романов осыпал племянника золотыми монетами. Вдругорядь он осыпал царя монетами у Михаила Архангела, в третий раз – на Золотой лестнице из Благовещенской церкви в царские покои.

На второй день праздника царь Алексей принимал в Золотой палате подарки, а сам отдавал указами.

Борис Иванович Морозов, в знатности рода уступавший многим и многим боярам и князьям, дабы наверстать упущенное предками, придумал новый высочайший чин ближнего боярина.

Из бояр в ближние пожалованы были Федор Иванович Шереметев, управлявший царством при царе Михаиле, князя Дмитрий Мистрюкович Черкасский, Борис Иванович Морозов и князь Никита Иванович Одоевский.

Себя в жалованной грамоте Морозов поставил третьим, но ни для кого не было секретом – наставник царя по близости к царю соперников не знает.

В бояре из стольников, минуя чин окольничего, были поставлены: князь Яков Куденетович Черкасский, Львов-Салтыков, князь Куракин, Федор Степанович Стрешнев, Темкин-Ростовский и князь Алексей Никитович Трубецкой.

Три дня шли пиры в Грановитой палате. На пиру царь указал быть боярам и дворянам без мест. Вняли указу, не местничались, не драли друг друга за бороды, оспаривая более высокое место.

В первый день великого царского пира возле дома Плещеева остановился старенький возок-каreta боярина Бориса Ивановича Морозова – лошадь распряглась. Кучера кинулись поправлять сбрую, а Плещеев Леонтий Стефанович тут как тут, выскочил за ворота спросить: не нужна ли помощь какая, не соизволит ли боярин посетить родственный дом...

Морозов быстро отворил дверцу возка, усадил Плещеева рядом с собой и, опустив шторку, заговорил быстро и тихо:

– В городе болтуны завелись. Шепчут по углам, что царь подметный. Никто тебе не помощник, Леонтий Стефанович, но и помехи не будет. Опростоволосишься – пошады тоже не жди, но ежели толки прекратятся – не забуду тебя! – Сказал и тотчас стал легонько выталкивать из возка. – Ступай да помни: для царя, как для себя, служи. Тебе будет хорошо и всему роду Плещеевых.

Едва Леонтий Стефанович ступил на землю, лошади рванули, Плещеева обдало грязью, все лицо залепило. Дома к нему кинулись с умыванием, но Плещеев всех разогнал. Сидел в горнице, не зажигая света, сдирал с лица комья грязи, целовал их и улыбался.

Заботы

Тревога поселилась в надежном доме Соковниных. Молодой царь по монастырям ходит, Богу молится. Об отце, о матери, о сестрах, о себе, сироте. За месяц с неделей похоронил батюшку своего, всея Руси государя, и добрую, тихую матушку. Молодой царь никого от приказов не отстраняет, новых людей вокруг себя не имеет, но правителем, с общего согласия, стал Борис Иванович Морозов – дядька царевича, наставник Алексея с младых лет. У Бориса Ивановича и родня, и приспешники, и виды.

В Земский приказ улыбчивый правитель посадил Леонтия Стефановича Плещеева.

– Началось! – рассказывал Прокопий Федорович о кремлевских делах Анисье Никитичне. – Борис Иванович своего шурина Петра Тихоновича Траханиотова послал во Владимир вернуть в посады все земли, всех прежних тяглых людишек. Ведь до чего дело дошло: государевых дел делать некому, пошрины и налоги брать не с кого. Тяглецы перебежали к сильным людям.

– Это к кому же? – не поняла Анисья Никитична.

– Кого ни назови, тронешь – и пропал. Но ежели Траханиотов царю службу сослужит, быть ему судьей приказа.

– Уж не твоего ли? – ахнула Анисья Никитична.

– Может, и так. Правда, в моем приказе больших денег не водится.

Кручинился Прокопий Федорович, совсем тишком жил. А тут лавиной новости. Траханиотов забрал у боярина Никиты Ивановича Романова – дяди царя! – сорок пять пажен земли, кои Романов незаконно отнял у города Владимира. Сии пажни – земля, удобная для выгона скота, – возвращены посаду. Да что земли! Траханиотов отобрал у Никиты Ивановича восемьдесят семь дворов, а это сто пятьдесят душ мужского пола.

А всего Траханиотов вернул посаду города Владимира двести восемьдесят семь дворов с семействами. Из Владимира отправился в Суздаль. И опять герой. Изъял у патриарха и суздальского архиепископа сорок одно семейство.

В стольном граде, на Владимир глядя, в теремах да в хоромех жизнь присмирела. Зато народ стал шумным. Хлеб вздорожал, день завтрашний ничего хорошего не обещает. Денег, выслуженных, дворянскому ополчению казна не платит, донским казакам – царь должник, стрельцам – должник...

Казна пустая, а в южной степи от крымской напасти молодой царь, не думая о деньгах, строит оборону: города-крепости в две линии.

В первые месяцы царствования Алексея Михайловича, уже осенью, был заложен Белый городок в Козловском уезде, в Воронежском – острожки Орлов, Усмань, Отемар. Предстояло поставить Коротояк, Инсар, Недригайлов, Оболянь, Олешню.

Борис Иванович Морозов озаботился и о сибирской оборонительной черте. Затевалось строительство городов-крепостей: Симбирска, Корсуни, Саранска, Чалнов, Аргаша, Сурска, Тагаева, Уренска, Белого яра.

Дело великое! Города эти – надежда на покой России. Пришлые бури разобьются о крепостные стены за тысячу верст от Москвы.

Прокопий Федорович тревогу не мог в душе держать, делился страхами с супругой.

– Никогда такого не бывало! Об одних деньгах нынче речь в Кремле. Боярин Борис Иванович со своими людьми рыщут по городам, аки волки по лесам. Волкам подавай кровь, Морозову – деньги.

– Время такое! – успокаивала Анисья Никитична супруга. – За дочек боязно. Федосье скоро четырнадцать, женихов надо присматривать.

– Больно рано, мать, о женихах думать. Года три-четыре у нас есть, а к тому времени царь войдет в возраст, успокоится жизнь. Мне Бориса Ивановича жалко. О себе он помнит, но о государевых делах крепко печется. Только ведь власти у него не больно много. Стрелецкий приказ у Шереметева, казна у Шереметева. А там еще Черкасские, Стрешневы, Трубецкие. У Бориса Ивановича в советниках Назарий Чистой да Васька Шорин. Шорин – богатейший гость, солью торгует, а Чистой хоть и думной дьяк, но тоже из купцов. Он денежки вымогает даже у послов. С голштинского, ходившего в Персию, я это доподлинно знаю, Назарий взял тысячу ефимков. Князь Фредерик жаловался царю Михаилу – Назарий-де совсем обнаглел, прибрал у голштинцев персидскую запону в дорогих камнях ценой в две тысячи талеров!

– Такие советчики насоветуют! – сокрушалась Анисья Никитична.

– Беде быть! – горестно вздыхал Прокопий Федорович. – Ты вот что, матушка! Все дорогое потихоньку убирай в надежное место. Мало ли что...

– Мало ли что! – соглашалась хранительница дома.

Соль

Петр Тихонович Траханиотов взлетел-таки, да высоко! На службу во Владимир отправился 20 февраля, а уже 16 марта был у великого государя на приеме, доложил о службе. Борис Иванович Морозов вместо похвалы стольнику зачитал при государе челобитную горожан Суздаля. Просили его величество, царя всея Руси, прислать в Суздаль Траханиотова воеводой, ибо Петр Тихонович посулов и поминок не емлет, а дела посадские делает вправду.

На другой день, 17 марта, царь Алексей Михайлович допустил Петра Тихоновича к руке, пожаловал из стольников в окольничие и назначил судьей Пушкарского приказа.

Знать бы Петру Тихоновичу, какая участь уготована ему, окольничему и судье приказа, через два года. Его беда народилась на другой день после великих царских милостей.

Утром 18 марта Петр Тихонович не от сна встал – родился заново. В своем не худшем доме, который стал за ночь тесным, кушал с блюд глиняных, оловянных, вкусно кушал, но морщился: человек его чина ест с серебра да с позолотою. Кафтан тоже огорчил. Новый, но ведь без запон! Шуба, любимая, волчья, в нос псиной шибанула, волос грубый, длинный, то ли дело соболя – и руке ласково, и телу, и глазу.

Лошадь резвая, упряжь в бронзовых бляшках, кучер на облучке в рыжем тулупе... Стыдоба. Петр Тихонович, однако ж, на лице неподступность изобразил. Смотрите, господа! Едет человек, царю надобный, и человек этот посулов и поминок не емлет.

Несла резвая лошадка честного судью в Кремль, к Золотой палате. Несла думать думу с великим государем, с его боярами, с думными дьяками, с такими, как сам, – с окольничими.

Не ведал, не ведал Петр Тихонович в первый же день своей радости. Он одобрит указ, и указ этот станет его палачом.

Мысль о соляной пошлине подал Борису Ивановичу Морозову думный дьяк Назарий Чистой. Бывший купец, Чистой и в дьяках вел торговые дела, предложил заменить множество налогов и пошлин пошлиной на соль. Да будь ты патриархом, а заплатить за соль придется. По всей Руси необъятной идет постоянный правез, свистят кнуты, старых и молодых запирают в тюрьмах: недоимки, долги, побеги. Не будет больше ненавистных стрелецких денег, а их с каждого двора емлют, не будет четвертных, данных, оброчных, ямских и прочая, прочая.

Хочешь, чтоб у пищи был вкус, заплати соляную пошлину. Единственную. Куда без соли?

А с каждого пуда казна теперь получит две гривны. Гривна стоит один рубль семьдесят копеек. Огромные деньги.

Послабление сделали астраханской соли и яицкой.

В Астрахани и на реке Яик, у казаков, – богатейшие промыслы осетров, белуг, стерляди. Сократится лов – рыба вздорожает, вместо прибыли грянет проруха. По гривне здесь брали с пуда соли. Да вот ведь незадача. В России от всякой реформы народу морока. Во всем царстве у одного Шорина теперь вечный праздник. Соляная торговля в его руках. Делится Шорин с Чистым, Чистой с Борисом Ивановичем. А народу – привыкай к несоленой жизни. Поборы, верно, отменены, но соль-то золотая.

Сначала обходились. Запасы были... Но уж очень скоро стало всем понятно: научиться жить без соли – дело нестаточное. Крестьяне зиму на квашеной капусте сидят... Капусту не посолишь – сгниет. И без рыбы соленой долгих холодов не одолеть, без того же сала... А деваться некуда.

Терпели. Пока что.

Аршин

А у Бориса Ивановича новая затея! Назарий Чистой придумал, как взять деньги со всех торгующих.

И вот он – указ: старые аршины запретить, ибо жульничества много, всем иметь аршины с орлом, казенные, правильные. Цена аршину – гривна.

Деньги Борис Иванович искал шустро, а вот власть прибирал к рукам несуетливо, без поспешности. Забрал у Федора Ивановича Шереметева Приказ новой чети. И успокоился.

А вот о неродовисти Морозова вся Москва судила-рядила.

Анисья Никитична с Федосьей и Дуней, Катерина Федоровна с Марией и Анной приехали проведать болящую Авдотью Алексеевну, супругу Глеба Ивановича Морозова.

Авдотья Алексеевна, урожденная княжна Сицкая, сокрушалась о воровских сплетнях.

– Морозовых болтунья Москва ни во что ставит. Выходки, мол.

– Матушка Авдотья Алексеевна! – встrepенулась Катерина Федоровна. – Наплюй ты на слухи! Больному сердцу нужен покой.

– Можно ли быть покойной, когда неправда правду застит! – осердилась Авдотья Алексеевна. – Здесь, в Кремле, князь Иван Васильевич Сицкий поставил дом на месте двора князя Рязановского, а в соседях у него был боярин Григорий Васильевич Морозов. Ему боярство оказано в год, когда Москва скинула с себя ханское ярмо. А дедушка Бориса Ивановича да Глеба Ивановича – боярин Василий Петрович. Он с князем Пожарским поляков из Москвы в шею выгнал.

– Государыня Авдотья Алексеевна! Ты и вправду будь покойна! – положила руку на руку боярыня Анисья Никитична. – Мой Прокопий Федорович говорил вчера: за шептунов и охальников крепко взялся Леонтий Стефанович Плещеев. Крамольники они ведь и царское имя не шадят.

Боярыня хоть и лежала в немочи, но глянула на Соковнину зорко.

– Чего говорят-то?

– Вслух повторить не смею! – испугалась Анисья Никитична.

– А ты мне на ухо шепни!

– Разве что на ухо! – И шепнула.

Боярыня призадумалась.

– Подметный, говоришь, царь Алексей?

– Не я говорю! – замахала руками Анисья Никитична. – Сие крамольники клеветают на великого государя. Леонтий Стефанович посылает своих людей за такие слова языки резать.

– Как бы половина Москвы не онемела, – посокрушалась боярыня. – Москва всегда была сплетницей.

– Государыня Авдотья Алексеевна! – поспешила перевести разговор Катерина Милославская. – Москва нынче о хорошем рядит да судит. Великий государь жениться собрался. Девиц на смотрины собирают.

– Чего искать-то? Глаза разуй. Твоя Мария Ильинична – лучшая из невест!

– Мы люди маленькие! – развела руками Катерина Федоровна. – Да ведь Мария-то старше государя.

– Зато в цвету! – Боярыня сняла с правой руки перстень с янтарем, поманила Марию Ильиничну ближе. – Это тебе. Поглядишь – вспомнишь, вспомнишь – помянешь рабу Божию Авдотью.

Воскресенье – праздничный день

Удивительный указ порадовал народ Русской земли.

17 января 1647 года великий государь Алексей Михайлович, всея Руси самодержец, объявил: отныне воскресные дни – праздничные. Работать в день славы Христа – грех, а те, кто, не боясь Бога и царя, станут принуждать своих крепостных людей к труду, будут наказаны и подвергнуты опале.

– Выходит, за пяльцами сидеть тоже нехорошо, – сказала Анисья Никитична и отпустила вышивальщиц гулять.

– А я книжку почитаю! – обрадовалась Федосья и тотчас села читать «Басни» Эзопа.

– Читай вслух! – попросила Дуня. – Мне тоже ума надо набираться.

– «О гусех и о журавлях», – прочитала Федосья. – «Гуси и жеравли на едином поле пасяхуся². Ловцем же показавшемся, и убо жеравли лехки сущее, скоро отлетеша. Гуси же, тяжести ради плотския оставшееся, поимани быша. Толкование: притча знаменует, яко и в пленении градов нестяжательные и нищие удобнее убегают пленения. Богатые же богатества ради работают в пленении».

– Ну, это понятно, – сказала Дуня.

– «О черепахе и об орле», – объявила Федосья новую басню. – «Черепаха орла моляше, дабы летати ю научил. Орлу же сказующу: далече сему бытию от естества ея. Она же наипаче с молением прилежаше. Взем убо ю орел ногтями и на высоту вознес, по сем пусти ю летати. Она же на камене падши; сокрушися. Толкование...»

– Какое толкование у тебя? – спросила Федосья сестру.

– Какое? Не будь душой. Крыльев Бог не дал, в небо не просись.

– «Толкование, – прочитала Федосья. – Притча являет, яко мози любопрения ради мудрестших преслушше, себе самех вредиша».

– Чересчур умно! – сказала Дуня. – Пошли погуляем.

– Ну, хотя бы три мудрости надо осилить! – И Федосья прочитала: – «О ластовице и о вороне». «Ластовица с вороною о красоте пряхуся. Отвещавши же ворона к ластовице рече: “Но убо твоя красота в весеннее время процветает, мое же тело и зиму удобь претерпевает”. Притча знаменует, яко крепость плоти лутчи есть благолепия». Понятно?

– Понятно, – сказала Дуня. – А скажи, какую невесту выберет наш царь, которая богатырь или которая красавица?

– Царю для царства нужна Василиса Премудрая. Зачем ему богатырша, у царя на врагов есть войско, – решила Федосья.

– Царь выберет Василису Прекрасную. Зачем ему мудрая. У него есть Борис Иванович. Тут сестры обе засмеялись.

² Пасутся.

Смотрины

Ромашка лепестки открывает солнцу, а Москва сердце распахивает царской радости.

Государевы стольники еще только скакали по городу к дворам именитых семейств, а народ на торговых площадях уже гудел, кумекая, чья боярская дочь краше? Не краше, так милее... О мудрости тоже не забывали – не всякая царица ровня Василисе Премудрой, только ведь и сердцем можно быть умной.

Женить царя приспичило Борису Ивановичу Морозову. Дело не худое, государю восемнадцать лет, целый год по монастырям ездил, поминал батюшку с матушкой. Нынче-то уж к делам царским привыкает, по часу в день думные дьяки читают ему челобитья. Многих милует, казни откладывает: злодею злодейство замолить надо.

Сам о женитьбе Алексей Михайлович не завел бы разговоров. Но ближний боярин знал за воспитанником опасную слабость. Алексей влюбчив. Человек высокого стремления становился для царевича, а теперь-то для царя – водителем, учителем и самой правдой.

На втором году правления царь-юноша «собинным» другом назвал архимандрита Никона. Никон – монах, испытанный Анзерской островной обителью, подвижник суровый, беспощадный к своим грехам и к миру. Его стезя – истина.

То, что царь прилепился душой и сердцем да ведь и умом к монаху, не опасно. Монаха правителем не поставишь. Опасно утратить доверие и близость.

Жена – хорошая управа на монаха. Но упаси Боже, если невестой царь назовет девицу из родовитых семейств.

Для Шереметевых, для Черкасских, Трубецких, Голицыных, Салтыковых Морозовы хуже бельма на глазу, выскочки.

Но Борис Иванович был в радость за государя, сам вдовец, старик, ему под шестьдесят.

Стариковское счастье – молодому счастью способствовать.

Для смотрин собрали две сотни девиц. Иные имели подружек, чтоб не одиноко было в Тереме.

В домах именитых людей беготня, суета, надежды, а у Милославских в доме тихо, опрятно. И в тишине этой, в чрезмерной опрятности – полынь горечи.

Ни Марию Ильиничну, ни Анну Ильиничну на смотрины не позвали.

Илья Данилович подластился бы к кому надо, но Морозов отправил его с дьяком думным Байбаковым в Галанскую землю. Не обычной дорогой – морем. На двух опасных кораблях – так именовались военные суда. Стольнику Милославскому царев наказ предписывал приискать для тульского оружейного завода мастеров железного дела и нанять опытных в солдатском ученье капитанов, а также человек двадцать солдат, добрых, самых ученых.

Глава семьи за морем, а Катерина Федоровна из людей знатных вхожа к одной Авдотье Алексеевне Морозовой. Так ведь не судьба! Авдотья Алексеевна расхворалась хуже некуда, родню не узнает.

Анисья Никитична с Федосьей и с Дуней молиться из монастыря наведались к Катерине Федоровне.

Было о чем попечалиться. Федосье пятнадцать лет, но, увы, на смотринах иные счастье пытаются.

– Обошлось без Соковниных, без Милославских! – вздохнула Катерина Федоровна.

– Моя – ладно! Уж очень юная! – вздыхала Анисья Никитична. – А твои-то! Марии двадцать два, Анна моложе, но обе невесты, обе – на загляденье.

Женщины говорили с глазу на глаз, их дочери были в девичьей... И здесь разговор шел о царских смотринах: государь двенадцать девиц уже видел, но платка своего ни одной из этой дюжины не пожаловал.

У Анны-смуглянки глаза веселые, дерзкие. Смеялась.

– Нам же лучше! Он обе сотни погонит из Терема. Тут и наша очередь придет.

Мария чуть морщилась, но улыбалась. Лицо у нее ласковое, светлое. Губы розовые, соразмерные. Не велики и не малы. И нос тоже, не велик и не короток. Глаза серые, но серые преудивительно. Тут и печаль, и строгость, и такая тайна – поглядишь, и потянет тебя в этот омут, только хватит ли смелости подойти? Ресницы черные, стрелами, брови ровные, черные, а голова русая, как раз к серым глазам.

Мария Ильинична достала из рукава платок, голову чуть подняла, поднесла себя к окошку. Встала. Одну руку к груди, в другой платочек шелковый, с каймой. Лицо окунула в свет, ресницы опустила. Замерла.

– Вот так девицы стоят в царицыной палате, – сказала, не улыбувшись.

– А где стоит царь? – спросила Дуня.

– Царь в щелочку смотрит! – И Анна расхохоталась. – Тайком! Тишком!

– Будь я царь, тебя бы выбрала, – сказала Дуня Марии Ильиничне.

– А кто выберет меня?! – подбежала к окошку смуглянка Анна. Выхватила у сестры платочек, подняла двумя пальчиками и тоже замерла.

Темноволосая – в отца, быстроглазая, кареглазая и такая счастливица.

– За тобой королевич Вольдемар приедет! – догадалась Дуня.

Всех насмешила. И себя.

А Катерина Федоровна и Анисья Никитична надумали дело стоящее. Пусть Прокопий Федорович ударит челом Борису Ивановичу. Поглядел бы Борис Иванович сестер Милославских. Катерина Федоровна привезет дочерей в Успенский собор. Станут у правого клироса, где света больше. Царю ведь не приданое дорого, не боярство в седьмом колене... Пусть и на дворяночек своих поглядит.

Всеволожская

Среди облаков синие прогалины. Федосье чудилось – это Москва глаза таращит от изумления. Царь назвал невестой никому неведомую Евфимию. Разговоров, шушуканий, секретов потаенных!

На обедню сестры Милославские почему-то отправились спозаранок, завернули к сестрам Соковниным. Прокопий Федорович хоть и всем в спины смотрит, с краю последний, но ведь при царе.

Федосья, ликуясь с Марией, шепнула:

– Коли не сегодня, так завтрашнего дня не позднее будет к вам гость.

– Какой гость? – не поняла Мария.

– Борис Иванович.

Мария смотрела на Федосью так, будто не знала, кто это – Борис Иванович.

– А чего в Тереме-то? – сообразительная, быстрая Анна одной рукой дотронулась до руки Федосьи, другой до личика Дуни.

– Смотринам конец, – сказала Федосья. – О Всеволожской, о Евфимье, слышали?

– Слышали, да ничего не поняли, – призналась Анна.

– Царь смотрел по одной, по две девицы в неделю, а их двести! Черкасские, да Стрешневы, да Никита Иванович Романов отобрали шесть невест. И все шестеро царю не полюбились.

– А откуда Евфимья взялась?

– У княжен да у боярышен подружки были! – вставила словечко Дуня.

– Какие подружки?! – удивилась Анна.

– Чтоб девицы не плакали от страха, каждая с собой брала подружку, – объяснила Федосья. – Царь этих подружек тоже глядел.

– И выглядел! – ударила ладонью о ладонь Анна. – Как ее, подружку-то?

– Евфимия.

– И чья она дочь, чья подружка?

– Чья подружка, не знаю. Отец ее – полковник Раф Всеволожский.

Анна села на лавку, локти – на стол, подперла кулачками горячие свои щеки.

– Был бы батюшка в Москве!..

– Она бедная! – сообщила то, что знала, Дуня. – У них нет ничего.

– Изба соломой крыта. Но земля у них есть, – огорченно глянула на сестрицу старшая, – а крестьян...

– Ни души! – опередила Федосью Дуня.

– Ни души, а в Терем взяли? – Анна в потолок посмотрела.

– Государь, радуясь, ходил ночью по тюрьмам. Сто рублей роздал.

Мария, что-то соображая, подошла к Федосье.

– Ты говорила – гость будет. А чего ради?

Федосья плечи вверх да вниз.

– Не ведаю.

Сестры Милославские

Ближний боярин Борис Иванович был у Милославских на другое утро. Подарил Катерине Федоровне камки – китайского шелка, а дочерям – персидского. То государева милость за службу в иноземных царствах. Борис Иванович сам изобрел поощрение, сам объезжал семейства послов. И все это ради дочерей Ильи Милославского.

От Милославских вышел, до того задумавшись, что забыл приказать, куда дальше ехать.

Мария, Анна, сама Катерина Федоровна в тот же день примчались к Соковниным. Привезли, показали дареные шелка. Но вот в чем вопрос? Борис Иванович милость царскую объявил, шелками пожаловал и – ни словечка!

– Приезжал, и слава богу! – утешила Милославских Анисья Никитична. – Не будь нужды – не приехал бы.

– Борис Иванович и у других был, кто в дальних службах, – качала головой Катерина Федоровна. – Царь невесту выбрал, какие теперь смотрины?

– Наш ум – бабий! А Борис Иванович о царевых делах печется, о наитайнейших.

– Про Траханиотова слыхали? – спросила Катерина Федоровна. – У дворянина то ли в калужской земле, то ли в рязанской имение отнял, к своим имениям присовокупил. А про Леонтия Стефановича, про Плещеева совсем уж страсти рассказывают. Купцов на правеж ставит. Ярославский гость не дал ему, сколько спрашивал, – все ребра сломали.

Анисье Никитичне о Плещееве слушать всю правду и противно и боязно. Родной брат Прокопия Федоровича, Иван Федорович, товарищ судьи Земского приказа, а Леонтий Стефанович – судья.

Переводя разговор, Анисья Никитична воздух ноздрями попробовала.

– Вроде у нас дух хороший. Ездили мы в Симонов, в Новый, – ужас! На пустырях кучами – рыба, мясо. Все гниет, смердит. А люди с голода пухнут... Я каждое воскресенье при храме нашем голодных кормлю. Кормить бы каждый день – кишка тонка.

– Рожь нынешний год уродилась! – Катерина Федоровна много правды говорить остерегалась. Поторопилась уехать...

Происшествие на дороге

В Успенском соборе на службах Федосья тянулась взглядом к царю.

Дома призналась Дуне:

- Я теперь знаю, какое лицо у счастья.
- Да какое же?! – У Дуни от такого разговора в каждом глазу по солнышку.
- А ты посмотри на царя.
- Мы же к Троице завтра едем.
- Вернешься – увидишь.

* * *

Осенью в добрую погоду всякая дорога на Русской земле – по золоту. Что ни лес – царский терем, купол небесный – Божий дар.

С холма, остановив лошадей, смотрели на Маковец, увенчанный Троицкой обителью.

– Как же я люблю собор Василия Блаженного и Спасскую башню, но здесь – дом Троицы единосущной!

Федосья опустила на колени, поклонилась. И Дуня за сестрой на колени. Коснулась лбом земли.

В монастыре жили три дня.

Дни стояли солнечные. Решились ехать в обители Переславля-Залесского.

В какой-то деревеньке поили лошадей. Подошла поглазеть на проезжих собака. Морда веселая, глаза с искоркой. Федосья кинула приветливому псу половину калача.

Лошадей напоили, поехали.

Дуня все поворачивалась, оглядывалась.

– Не егози! – сказала Анисья Никитична.

– Федосья хлеб собаке дала. Теперь за нами бежит.

Федосья посмотрела. Собака, верно, бежит. Морда радостная, лапами землю от себя толкает, играючись.

– Может, голодная, – решила Анисья Никитична. – Дай еще кусок.

Федосья кинула собаке хлеб. На лету поймала. Остановилась.

Впереди увал: вниз – долго, далеко, а на взгорье так под самое небо.

– А собака бежит! – сказала Дуня.

Остановились, вышли из кибитки. Собака радостно скалила пасть.

– Возвращайся! – сказала ей Федосья. – Будь умной. Мы далеко едем.

Пошли садиться, собака ждала. Федосья вернулась.

– Ты посмотри, какой впереди подъем! Обессилеешь. Дом потеряешь.

Сели, поехали. На взгорье дали отдохнуть лошадям, а веселая собака все еще веселая.

Матушка Анисья Никитична придумала:

– Федосья, дай ей кусок мяса. Пока будет есть, мы далеко уедем.

– Мы же нездешние! – убеждала Федосья собаку. – Ешь – и домой!

– Можно, я поглажу тебя? – спросила собаку Дуня.

Собака отпрянула, а вот еду от Федосьи приняла, виляя хвостом. Кони взяли резво, собака вскинула морду, но мясо было уж очень вкусное.

Остановились у церквушки. Поклонились иконам, поставили свечи. Пошли к лошадям – собака ждет. Морда счастливая.

Попросили священника. Посадил собаку на цепь. Батюшка налил в плошку молока. Но собака не променяла на молоко Федосью. Смотрела, поскуливала, металась.

– А мы уехали. Бросили, – сказала Дуня.

Синий камень

В Переславле Анисья Никитична сняла половину дома на берегу реки Трубеж. За рекой земляной вал. Через мост, в проем, и вот оно, сердце Переславля-Залесского, – Спасо-Преображенский собор.

– Самый старый храм Московского царства, – сказала Анисья Никитична дочерям. – Здесь молился святой князь Александр Невский. Это ведь его княжество. Возле собора стоял терем – родной дом Александра Ярославича. Он здесь и родился...

Берегом реки вышли к Плещееву озеру. Небо сливалось с водой. Земля по горизонту синей полоской, с зубчиками... Лес.

Вечерню отстояли в Спасо-Преображенском, а ранехонько поутру пеши совершили паломничество в Никитский монастырь.

Преподобный Никита был сборщиком податей, жестокий мздоимец. Здесь на холме, над озером, соорудил он себе столп. Господь за ревность в молитве наделил старца даром исцеления. Слава столпника дошла до черниговского князя Михаила. Князь был болен неизлечимо, но молитва Никиты одолела болезнь.

Федосью обрадовала неожиданная встреча. В храме стояли вышитые золотом хоругви – дар монастырю царицы Анастасии Романовны, первой любимой жены царя Ивана Грозного.

Анастасия Романовна – светлая печаль русского народа. При ней царь Иван был добрым, мудрым, а, потерявши любимую супругу, стал Грозным. По всей правде ежели – чудовищем.

Федосье все чудилось: батюшка Никита хоть и невидим, но возле икон. Слушает, что паломники говорят, жалеет, кого не пожалеть нельзя.

Себя Федосья корила за несусветное: ишь какая хорошая! – святой столпник чуть ли не объявляется ей, но знала твердо: просить святого об исполнении девичьих желаний – суета. В доме, слава богу, ни болезней, ни горестей. Царь – само счастье, невесту нашел себе. О Марии Милославской помолиться? Марии о замужестве самое время думать. Такая она складная, строгая, но получше поглядеть – нежная, ласковая и в глазах потаенное о хорошем. Кто сватов пришлет? Отец – стольник. Ни денег, ни имения... Знатные да богатые семейства ищут родню среди богатых и знатных.

О себе Федосья подумать не догадывалась... Помнить помнила: шестнадцатый год идет, и никого, ничего себе не желала, будто у нее все уже решено.

От богомольцев узнала: на озере, под монастырем, есть камень синий. У этого камня девицы мужей просят, пригожих, богатых...

Пригораживая рот ладонью, паломница спросила у Федосьи:

– У камня была?

– Не-е-ет.

– А чего нет?.. Всего и делов: ладонь на камень положила, на озеро поглядела и – к Никите. Никита добрый, отмолит грех. А жениха получишь по твоему желанию.

В город возвращались берегом озера. На воде ни единой морщины. Осенняя синева неба в любовь окунает, душа летит, а сердце на земле. Одинокое.

– Никогда не видела столько синего, – вырвалось у Федосьи.

– Мы, как по небу, идем! – Дуня шла по кромке берега.

– Не этот ли камень? – Анисья Никитична остановилась у длинного валуна. Он и на берегу и в воде.

– Тот синий, – напомнила Федосья.

– А этот не белый, не серый... Как просто у крестьян! Погладила камень – и женишок вот он.

Федосья к камню не подошла. Камень и камень. И Дуня не подошла, а потом вдруг вернулась, погладила.

– Не рано ли тебе замуж? – улыбнулась Анисья Никитична.

– Я впрок. – Дуня была человек серьезный.

Обида за царя

В Москву прикатили в санках, под Введение. Прокопия Федоровича дома нет. Государь послал судью Каменного приказа поглядеть, как строятся крепости на черте, в степи. За приказчиками смотреть надо строго. Заворуются.

Утром ради праздника лег снег. Ласковый, чистый. И не холодно. Мороз для румянца.

Праздник Введения тревожил Федосью таинственной, с печалью в глазах, радостью. Мать Божия – родительница вечной красоты.

Девочка, еще даже не отроковица, но ее вводят во храм. В святая святых. Здесь бессмертные душу и сердечко, стучащее по-человечески, ожидает Вселенная. Сонмы звезд, сияющие полчища небесных сил, а Иисус Христос – среди Троицы, но не рожден плотью.

Это какие же предвкушения всему сотворенному. Словом, Федосья вступила в Успенский собор, затаив в себе чудо вступления Богородицы, во храм одушевленный.

Первое, что увидела Федосья, – лицо государя. Она заранее напрягла душу, чтобы радоваться его радостью. А государя, Алексея Михайловича, которого покидала, – нет! У этого на царском месте – лицо другое. Глаза, борода, румянец те же и свет на лице, но из души – от окон.

– Где же счастье? – вспомнила Федосья, чего искала и чего теперь в лице царя не было.

О царевых несчастьях, ежели они сердечные, помалкивают. И все всё знают.

* * *

Страшно было Федосье. В сердце кипела обида. За царя. Царь, а за правду не смог постоять. Поверил злу, а зло в него и метило. Пособить злу – быть угодником князя тьмы. Но кто – зло?

Царскую невесту, Евфимию, в царское платье обряжала Анна Петровна Хитрово. Имя ей Хитрая. Царицын наряд – пудовый. Убирать голову царской невесте взялась сама Анна Петровна. Каждый волосок затягивала под убрус с такой силой, будто это не волосы, а струны. Такое сотворила – бедная Евфимия глазами не могла моргнуть. Ее ноги не держат, но Хитрая со своими бабами подхватили невесту под руки, втокнули в двери Золотой палаты, а сами в стороны. Царь от радости и нетерпения с трона сошел, а невеста качнулась, будто сосенка подрубленная, и упала.

И еще один человек грохнулся. На колени. Борис Иванович. Прощенья просил у царя: недоглядел, больную в царицы подсунули.

Ночью отца невесты, дворянина Рафа Всеволожского, в тайной пыточной Борис Иванович Морозов пытал на дыбе.

– Давно ли испорчена дочь? – спрашивал.

Полковник Всеволожский отвечать не захотел и не дал ответа.

Тогда ему зачитали указ:

– Ехать тебе, Раф, воеводой в Тюмень, с женой Настасьей, с сыном Андреем.

Евфимию повезли было в монастырь с приказанием тотчас постричь. Но карету догнал комнатный человек царя Артамошка Матвеев. Евфимию отправили в Тюмень, с отцом, с матерью, с братом.

Ожидание бунта

К Прокопию Федоровичу приехал младший его брат Иван – товарищ судьи Земского приказа. Напуганный, растерянный...

– Прокопий! Анисья, умница ты наша, посоветуйте! Я совсем голову потерял.

А кто бы не потерял?! Судья приказа Леонтий Стефанович всех приказных превратил в добытчиков денег. Брали с каждого для Леонтия Стефановича, да ведь себя тоже не забывали. Рассказывал Иван Федорович шепотом:

– Вчера на Вшивом базаре нашего подъячего мясник топором зарубил. У того мясника мясо всегда парное, окорока пудовые, сало – лучшего я нигде не отведал. Повадились наши приказные к нему захаживать. Для Леонтия Стефановича брали – тут уж ладно, ничего не поделаешь, но вчера горемыка подъячий был восьмым на дню. Расколол, обидевшись, мясник человека не хуже полена – надвое.

– Надвое? – ахнула Анисья Никитична. – Поймали?

– Убежал.

– Вот вам еще один разбойник!

– Разбойниками Москва кишмя кишит! – Прокопий Федорович был зело мрачен.

– Брат, надоумь, что делать-то? – Иван чуть не плакал. – Морозову челом ударить?

Прокопий Федорович усмехнулся.

– Нашел заступника! Борис Иванович выхлопотал у царя в кормление Траханиотову город, уж не помню какой. Устюг Железный, что ли? Но ведь город! А Траханиотов у подъячих половину жалованья себе берет. И у стрельцов тоже.

Обнял брата за плечи. Пригорюнились. Спросил однако:

– Не пойму, Иван, твоего страха. Чем тебя напугал Плещеев?

– Зверством! Он у нас выдумщик. Решил всех разбойников Москвы переловить. Одел стрельцов в богатое платье, чтоб их грабили. И грабили. И попались. Злодеев человек двадцать схватили. Вышел к ним Леонтий Стефанович и говорит: «Отпущу семерых. Каждый из них принесет мне по сто рублей. За хорошее и я буду хороший – отпущу из вашей братии половину. Но уговор дороже денег. Кто сбежит, поймаю и сдеру шкуру».

– Затеяник! – изумилась Анисья Никитична.

– Еще какой! Вы дальше слушайте. Из семи вернулись трое. Один принес сто рублей, другой пятьдесят, третий всего девять ефимков. Этим свобода, а за беглецами Леонтий Стефанович послал сыщиков. Двух поймали, привели... Приказал Плещеев поднять обоих на дыбу и кожу содрать. Палачи ни в какую: мы не басурмане!.. Кожу им оставили, но убивали невыносимо как страшно.

Прокопий Федорович встал, подошел к иконам, перекрестился.

– Вот что, Иван! Нам, Соковниным, за себя не стыдно, чужого не берем. К тебе, ко мне злобы у людей нет. Но коли бунт разыграет – всем добрым дворам беда. Так что подальше прячь злато-серебро. Ты говоришь, у вас подъячего убили – мздоимца. Но в Сольвычегодске на этой неделе ограбили людей гостя Шорина, соль отняли... В Новгороде несколько лавок сожгли. Во Пскове народ шумел.

Иван тоже подошел к иконам, приложился.

– Предупредить бы Бориса Ивановича. В кабаках и на базарах люди сговариваются убить дьяка Назария Чистого. Челобитными о соляной пошлине, чтоб отменили, у нас в приказе угол завален.

– Народ терпит до поры, – сказал Прокопий. – Ты, Анисья Никитична, бери девиц и поезжай или к Троице, или в село.

– Так к Борису-то Ивановичу идти или не ходить? – снова спросил Иван.

– Воротился из Голландии Илья Данилович Милославский. Теперь у Бориса Ивановича уж очень горячее время. Что ему бунты? У него Стрелецкий приказ под рукой.

– А про какую горячку ты говоришь?

Прокопий Федорович улыбнулся, широко улыбнулся, но головой покачал серьезно.

– Скоро узнаешь. Не все-то нам плохое – быть и хорошему.

Хорошим для Москвы, для всей России стало 11 декабря 1647 года: царь отменил соляную пошлину.

* * *

Илья Данилович Милославский со всеми дорогами был в Голландии одиннадцать месяцев. Привез мастеров железных дел для тульского завода, трех капитанов – учить стрелецкое войско иноземному строю, двадцать солдат, у коих надо было перенимать немецкую науку войны.

Наказ государев Илья Данилович исполнил на совесть, но его старания никого не порадовали, большие люди были заняты делами спешными и великими. Стрелецкий приказ Борис Иванович Морозов забрал наконец у Шереметева, но солдатами ближнему боярину заниматься недосуг.

Отменил соляную пошлину, ибо на дорогую соль у народа денег не было, исчезли соленья, перестали ловить рыбу, а главное – появились тайные соляные варницы.

Но соль солью, беда была с самим государем. Уж очень печаловался Алексей Михайлович по Евфимии Всеволожской.

– У Милославского, у Ильи Даниловича, девки красоты неопишущей! – обронил Борис Иванович. И нет-нет да и опять о них поминал.

Запала, знать, в государево сердце веселая фамилия: Милославские. Две сестры, красоты неопишущей...

Алексей Михайлович однажды осерчал на Бориса Ивановича, когда тот о сестрах помянул. Но прошло время, и царь уже не терпел своего дядьку за его упрямое молчание.

И свершилось.

Новая невеста

Не то что господа, слуги еще как следует не проснулись – примчался на взмыленных лошадях ближайший боярин царя Борис Иванович Морозов. Щечки – пламень, сел и тотчас привскочил.

– Девицы здоровы? Собирай, Илья Данилович! Царевна Ирина Михайловна ждет. Да честь по чести пусть обеих приберут! Ох, Данилович! – На грудь стольнику припал и сам же оттолкнул от себя. – Да не каменей! Спеши!

Боже ты мой! Поднялась беготня, сыпались тумак. Илья Данилович умолял, всплакивал, грозился прибить! Хватал и тащил шубы, бросал на полпути, лупил в сеньях замешкавшихся конюхов, стучал их головами о стенки, каменел-таки, бежал к гостю...

– Уговор, Данилович, помнишь? – спрашивал Морозов, вышагивая комнату от окна к двери. – Одну девку государь за себя возьмет, коли возьмет, а другую возьму я.

– Господи, да хоть сейчас! – стоном стонал Илья Данилович.

– Окольников пожалуют к свадьбе, потом и в бояре. Дом в Кремле я тебе уже приготовил, коли Бог даст...

– Какой дом! – махал обеими руками стольник. – И так куда ж больше...

Вспоминал что-то, летел соколом на женскую половину.

– Умыли хоть девок-то?

– Не толкись, Данилович! – умоляли хозяина взмокшие мамки, няньки, бабки.

– Румяна где? – несло по дому.

– Какие румяна?! – ахнул Морозов. – Чтоб во всем естестве были!

– Какие румяна! – пинком выбивал двери Илья Данилович. – Естества не коснись! Никто не коснись!

И наконец – тишина: мышей слышать.

Умчались! И Борис Иванович, и дочери, и жена.

Илья Данилович один сидел в пустой горнице. Сидел и большим пальцем нос чесал.

В чистом поле две трубы трубили,
Два сокола играли, –

сказал загадку и сам не поймет, зачем сказал, и вдруг как пелена спала. Э! Не было теперь ничего важнее, чем та загадка: в чистом поле два сокола играли...

– На вас, глазунки, одна надежда!

Вскочил Илья Данилович на резвые ноги, подголовник отворил, достал мешочек с мелкой денежкой. Без шубы за ворота побежал.

В Москве, где церквей сорок сороков, нищих – как пчел в улье.

Бросил Илья Данилович первую горсть денежек – слетелись к его дому лохматые пчелки со всего города, словно у каждого попрошайки рысак за углом.

И с правой руки Илья Данилович деньги кидал, и с левой.

– Помолитесь, божьи люди! Помолитесь за меня, грешного!

И дворовой челяди приказал:

– Всех накормить!

Сам в бане затворился нетопленной.

Сидел, покуда не прибыли с известием:

– В Верх взята Марья Ильинична.

Дни ожидания

Илья Данилович Милославский очумел от немыслимого счастья. Ворота на запор, двери в доме, что к черному-то ходу, досками приказал забить. Ружье на столе, пистолет за поясом. Дочь в Тереме – ломоть отрезанный. Вторую дочь, Анну-смуглянку, хранил Илья Данилович про запас.

С девкой Рафа Всеволожского вон как обошлись, а второй у него не было. Так бы и сидел в сторожах, но Борис Иванович позвал будущего тестя в Кремль, показал пустующий двор. Место знатное. Сразу за двором царя Бориса, где жил датский принц. Двор у стены. Неподалеку ворота на Каменный мост. И радость – к радости. Поверстали стольника Милославского в окольные, после свадьбы обещано боярство.

А у Соковниных в доме поселилась тишина. Всякий шорох – событие.

Анисья Никитична перебралась к Авдотье Алексеевне Морозовой. Вместе целый день в Тереме, берегут Марию Ильиничну. Анна Петровна Хитрая – своя, сослужила службу Борису Ивановичу, но ведь вся боярская зависть зубами по-волчьи щелкает, вьется змеиными кольцами, роняя с жала яд. Кто такая Милославская? Откуда? В царицы собралась. Одну выставили, другая выискалась такая же.

Прокопий Федорович со старшим сыном Федей тоже в Кремле живут. Хранят Марию Ильиничну. Федосья в доме за старшую. При ней братец Алексей и Дуня. Дуне тринадцатый, вытянулась, похорошела. Что на ней, все к лицу. А глаза! Такие глаза не забывают.

Рождество на дворе. Всему белому свету праздник.

А у Милославских, у Соковниных одно на уме: заснуть, а проснуться, когда уж все случилось.

Думать о Марии Ильиничне Федосья не позволяла ни себе, ни Дуне. Мало ли что надумаешь!

Время попусту проживать стыдно, Федосья и Дуня читали жития святых.

Свадьбу Алексея Михайловича и Марии Ильиничны назначили на 16 января, на воскресенье.

– Шестнадцатого поклонение честным веригам апостола Петра! – вспомнила Дуня.

– Вериги в этот день видят и прикладываются к ним в Риме и в Царьграде, – сказала Федосья. – Патриарх Ювеналий подарил святыню императрице Евдокии, а Евдокия одну веригу послала своей дочери Евдоксии в Рим. Это было при императоре Феодосии, в 437 году.

Прочитали жития святых мучеников Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, их бабки Леониллы и с ними Неона, Турвона, Иовиллы.

Во II веке жительница Каппадокии Леонилла приняла святое крещение и окрестила своих внуков. Язычники замучили насмерть бабушку, внуков. И с ними Иовиллу, назвавшую себя христианкой. Святой Неон написал о страданиях святых, передал рукопись Турвону, но оба они тоже приняли мученическую смерть за Христа.

Дуня, полистав жития, стала читать о святой равноапостольной Нине, просветительнице Грузии.

Жизнь святой была чудом. Ее отец Завулон приходился родственником великомученику Георгию, ее мать Сусанна – родная сестра иерусалимского патриарха Ювеналия. Того, что подарил вериги апостола Петра императрице Евдокии.

Дуня, уставая читать, показывала строчку, и дальше читала Федосья. Федосья уступала место у книги опять Дуне.

Прочитали, сидели удивленные, радостные.

– У нас теперь такая дивная заступница! – сказала Дуня. – Господь Бог Нине открыл место, где был сокрыт его хитон.

Федосья вздохнула.

– Жалко! Грузия уж очень далекая страна. Поклониться бы кресту из виноградной лозы.

– А как же это так, – удивлялась Дуня. – Богородица дала Нине крест во сне, а он и наяву – крест. Скажи, а мы с тобой могли бы стать, как Нина, равноапостольными?

Федосья молчала долго. Лицо у нее было хорошее, а глаза грустные.

– Если Богу будет угодно, Мария Ильинична станет царицей, а мы станем приезжими боярынями... Чтобы назваться равноапостольной, надо ехать на край земли, крестить народ в звериных шкурах, Евангелие этому народу принести, да чтоб на их языке.

Дуня обрадовалась вдруг.

– Получается, и в наши дни можно стать равноапостольным. Родится хороший человек, полюбит Христа больше себя самого и пойдет на край земли. А ведь будет такой человек. Наш, русский человек.

– Будет, – согласилась Федосья, осенила себя крестным знамением. – Свадьба уж скорее бы!

– А я дни не тороплю, – призналась Дуня. – И ночи не тороплю. Федосьюшка! Каждый день – это наша жизнь. А ночами теперь Святки. Луна по небу ходит, тоже как невеста. Ненаглядная.

* * *

В воскресенье, 16 января, в Успенском соборе состоялось венчание Алексея Михайловича Романова с Марией Ильиничной Милославской.

Свадьбу не играли – свадьбу отслужили. Обошлись без музыки, без плясунов, без потешников, к великой душевной радости Стефана Вонифатьевича и ревнителей благочестия, но без пиров не обошлось.

В первый день своей радости государь был одет в тафтяную сорочку с ожерельем, в тафтяные червчатые порты. Пояс на нем был златокованный, шуба русская, крытая венецианским бархатом, малиновым да зеленым шелком, круги серебряные по шубе были велики, в них малые золотые круги с камнями и жемчугом. Шапка на государе была червчатая, большая, новая, колпак большой, весь обнизан жемчугом и камнями. Башмаки шиты волоченым золотом и серебром по червчатому сафьяну.

Марья Ильинична одета была тоже из Большой казны.

Пир шел шесть дней, и все эти дни царь и царица принимали подарки.

Ртищевы, старший, Михаил Алексеевич, постельничий, и сын его, Федор Михайлович, получили соболей из казны, чтоб на свадьбе ударить челом государю и благоверной царице. В свадебном действе им было отведено место не больно видное, но важное – стояли у мыльни царя.

Посаженым отцом, конечно же, был Борис Иванович Морозов, посаженной матерью – жена Глеба Ивановича Морозова, Авдотья Алексеевна. Сам Глеб Иванович с Ильей Даниловичем Милославским охраняли сенник, где помещалось брачное ложе.

С Милославскими ближних людей прибавилось, появились имена малознакомые. Предпоследним среди сверстанных на царской свадьбе стоял Прокопий Федорович Соковнин. Он был провожатым у саней царицы, а сын его, Федор, был предпоследним среди стольников-поезжан.

Через месяц после свадьбы Прокопий Федорович станет дворецким у царицы и будет сидеть за поставцом царицыного стола, отпускать яства.

Еще через два месяца получит чин окольничего.

Илья Данилович Милославский окольничего получил к свадьбе дочери, а через две недели, 2 февраля, его пожаловали в бояре.

Милославские были выходцами из Литвы. Некий дворянин Вячеслав Сигизмундович прибыл в Москву в свите Софьи Витовтовны, невесты великого князя Василия I, в 1390 году. Внук Вячеслава, Терентий, принял фамилию Милославский. Высоко Милославские не взлетали, но всегда были при деле. Дед Марии Ильиничны, Данило Иванович, служил воеводой в Верхотурье, а потом в Курске. Сам Илья Данилович до своего нечаянного счастья был стольником, наместником мединским, посланником в Константинополе, в Голландии, служил кравчим у знаменитейшего дьяка Посольского приказа Ивана Грамотина, с которым был в родстве.

Теснили новые люди старое боярство.

Петру Тихоновичу Траханиотову невелика была честь на царской свадьбе – скляницу с вином в церковь нес, но то уже было дорого, что вниманием почтили.

На четвертый день государевой радости патриарх Иосиф благословил государя образом Всемиловитого Спаса, а государыню образом Пречистой Богородицы «Взыграние младенца».

Государю патриарх подарил сто золотых червонцев и государыне тоже сто, а также кубки, атласы, объяры, камки, тафту, соболей, бархаты.

В седьмой день государь и государыня отправились в Троице-Сергиеву лавру, а еще через два дня они были на свадьбе ближнего боярина Бориса Ивановича Морозова и Анны Ильиничны Милославской, красавицы-смуглянки.

Счастливые Соковнины

Анна Ильинична передала Федосье подарок – рукописную тетрадь, зело ученую. Илья Данилович получил эту тетрадь в подарок во Пскове от одного монаха.

В доме Соковниных всем жилось легко, но теперь опять же всем было страшно. Страх этот не грозил, не пугал, а все-таки... Великое счастье вселилось в новые хоромы Милославских, у Соковниных дом прежний, невелик, надежен, стоит на добром месте. Страх породило счастье. Прокопий Федорович, отставленный в 1846 году от Приказа каменных дел, на свадьбе царя шел за саями царской невесты «для бережения». А на Сретенье через месяц после венчания Алексея и Марии пожалован в дворецкие великой государыни. Старший сын его, Федор Прокопьевич, год тому назад возведен в стольники, на свадьбе был в числе поезжан.

Дело поезжан – охрана свадьбы. Поезжане кланяются всякому встречному, даже нищему. Чтoб всем почет, чтoб никто обиды ради не пожелал дурного жениху и невесте. Народ так говорит: «Был в поезжанах, значит, свой». Младший сын Прокопия Федоровича, Алексей, после свадьбы Марии Ильиничны взят на службу. Зачислен в стольники царицы.

Коли столько получено, то как не утешиться – потерять. Вдруг стало! От Бога, почитай, за все доброе. А ежели канет? Вот Всеволожские! Еще бы денек – и бояре, а нынче гонимые, на сибирский мороз все семейство выставили.

Тетрадь, подаренная Ильей Даниловичем, озадачила Федосью.

Говорилось: «Семь звезд зодиака именуются имена от языческих богов, еже древний мудрецы кождо звезду от коего же бога именоваше именем».

Сообщалось: «Овна и его золотое руно бог Арей поставил на острове Косе во стражах царства Троянска. Устроив же волы, во устах пламень имущи, да пасут овна златоуруннаго и сего ради овна того промеж знаменитейших звезд древний поставиша».

«Близнецы – цари, два брата, Настор и Поллукс».

«Лев именовася – сего ж сильнейшего Ерпулес сиречь Ираклий в грязи убил. И сея ради силы его огромечи звезды древний устроиши».

«Дева – царица, именем Понтозиля, храбра и сильна зело».

«Козерог именовася ради козы, Зевсовый кормилицы, еже часть последняя тела рыбия...»

Книга оказалась гадательной. Встретилось слово «рафли». Раскрывалось: рафли – это святцы, а рафль – это мысль.

Шло объяснение, как надо гадать.

– Не моя книга! – твердо сказала Федосья. – Здесь ученость есть капкан, который хлопнет – и душа попалась, аки горностайка.

– Ты книжку сожжешь? – спросила Дуня.

– Подарок Милославских. Сжечь нехорошо. Положу подальше, пусть сама уйдет из нашего дома.

У Дуни глазки заблестели вдруг.

– Узнать бы, кто будет твой муж, кто мой?

Федосья улыбнулась.

– Дуня, а по-моему, лучше не знать. Придет день – и будет тот, кого Бог тебе пошлет.

У Дуни личико вдруг сморщилось.

– Я сон вспомнила. Мне снилось: вся Красная площадь в огне. И монах. А монах человека по земле волочет. Взял этого человека и в огонь бросил. Огонь-то и погас.

– Страшно, – сказала Федосья. – Надо перед сном на пруд ходить, на лебедей смотреть. Я хожу, смотрю – и летаю во сне. Уж так это хорошо.

– Да, конечно, хорошо! – согласилась Дуня. – Летают ангелы.

На мужской половине дома все время шло какое-то движение.

– Федя в дорогу собирается, – сказала Федосья. – Царица Мария Ильинична едет с царем на охоту.

– Я с моим мужем тоже буду с соколами в поле ездить. Гусей бить. Гуси вкусные.

– А мне соколов не надо, – серьезно сказала Федосья. – Я люблю смородину.

– Красную.

– И красную и черную. И чернику-голубику.

– А знаешь чего! – Глазки у Дуни опять заблестели. – Давай вместе летать.

– Как? – не поняла Федосья.

– Ты в моем сне, а я в твоём.

– Пошли на цветы посмотрим! – сказала Федосья. – Вчера стояло тепло, сегодня теплый день.

– Пошли! – согласилась Дуня. – Шмеля хочу увидеть.

Клятва верховной боярыни

Приезжие боярыни царицы Марии Ильиничны собрались в Золотой царицыной палате. Они стояли справа и слева от золотого царицыного стула строго по местам: княгиня Касимовская Марья Никифоровна – жена касимовского царевича Василия Еруслановича, княгиня Сибирская Настасья, боярыня Анна Морозова, царицына сестра, княгиня Черкасская Авдотья с дочерью Анной, княгиня Одоевская Авдотья и еще одна Авдотья, жена Глеба Ивановича Морозова, и прочий синклит: Трубецкие, Салтыковы, Пронские, Пушкины, Урусовы, Стрешневы, Милославские, Ромодановские, Троекуровы, Куракины, Долгорукие и где-то в самом конце, перед Соковниными, Шереметевы.

Царица Мария Ильинична в Большом наряде, высокая, пышная, с глазами строгими, серыми, удивительно оттененными колючими ресницами, была самой красивой в этой сверкающей золотом, воистину Золотой палате. Ее отец, Илья Данилович Милославский, бывший среди немногих мужчин на церемонии, смахнул счастливую слезу. Сколько раз в былые времена клял он себя за не ахти какую выгодную женитьбу: за красоту жену взял, а красота – не тройка, не поскачешь... Ан нет! Красота за себя постояла. Вон как вознесла! Господи, и во сне такого присниться не могло!

5 марта боярин Илья Данилович Милославский справил новоселье. Переехал жить в Кремль, но тотчас затеял поставить новые палаты, чтоб ни у кого в Москве таких палат не было. И об этой своей задумке Илья Данилович успел царице шепнуть перед церемонией, и царица хоть и удивилась – месяца не прошло с отцова новоселья, – но обещала сказать царю.

А церемония такая была: Анну Михайловну Ртищеву, которую Мария Ильинична собиралась сделать своей кравчей, посвящали в чин верховных боярынь.

Служба кравчего – отведать пищу, прежде чем поставить ее на стол царя и царицы. Сначала пищу пробовал ключник на глазах дворецкого, потом пробовал сам дворецкий на глазах у стольника, стольник пробовал пищу на глазах кравчего.

Анну Михайловну ввели в Золотую палату, поставили перед благовещенским протопопом Стефаном Вонифатьевичем, который благословил ее и дал ей крест. И, держа крест, Анна Михайловна сказала клятву верховных боярынь:

– «Лиха не учинити и не испортити, зелья лихого и коренья в естве и в питье не подати и ни в какие обиходы не класти и лихих волшебных слов не наговаривати над платьем и над сорочками, над портами, над полотенцами, над постелями и надо всяким государским обиходом лиха никоторого не чинити».

Анна Михайловна поцеловала крест, икону Богоматери, подошла к царице, поклонилась ей до полу, и та дала ей поцеловать руку.

– А теперь пойдемте старые вещи глядеть, – объявила Мария Ильинична.

Не было у нее занятия любезнее, чем перебирать платья и украшения, доставшиеся ей от прежних цариц.

Охота

17 апреля в Москву прибыл гонец с белгородской засечной линии от воеводы – князя Никиты Ивановича Одоевского: казачий полковник Богдан Хмельницкий стакнулся с крымским ханом и теперь ведет всякую чернь и татар грабить русские уkraine.

Гонца выслушал дьяк Посольского приказа Назарий Чистой и тотчас поскакал в Коломенское. Ближний боярин Борис Иванович Морозов вместе с молодой женой был здесь на царской соколиной охоте.

На охоту выезд совершили торжественный, семейный. Впереди в красном платье с птицами скакали сокольники. За сокольниками попрыгивала веселенькая легкая карета государя. В карете сам Алексей Михайлович и Борис Иванович Морозов. За царской каретой верхом ехали стольник Афанасий Матюшкин и начальник над сокольниками Петр Семенович Хомяков. Следом двигалась карета царицы, запряженная двенадцатью лошадьми. С царицей ехали ее мать и ее сестра Анна. За царицыной каретой гарцевали верхами тридцать шесть девиц в красных юбках, белых шляпах с алыми шнурами, закинутыми на спину. За царицыной охраной катила новехонькая карета новехонького боярина Ильи Даниловича Милославского, а с ним ехал Федор Михайлович Ртищев, потом уж, сияя, как солнце, подминала дорогу серебряная карета боярина Морозова – свадебный подарок государя. Карета пустовала. За серебряной каретой двигалась огромная колымага царевен, а в ней Ирина Михайловна, Анна Михайловна и Татьяна Михайловна. За колымагой царевен ехало сорок дворян, а потом еще тридцать колымаг прислуги.

Село Коломенское было в шести верстах от Серпуховской заставы по Каширке. Выехали после обеда, чтоб провести вечер на Москве-реке, а утром скакать на охоту.

Из всех своих сел Коломенское Алексей Михайлович жаловал более других. Он велел сделать себе над рекою лавку, чтоб на реку глядеть.

Глядеть на реку – все равно что в младенческую протоку души своей. Вязкие берега жизни теснят протоку, а она, чистая до самого дна, хоть и петляет, но бежит, бежит изо всех сил, потому как остановиться нельзя – тотчас и затянет.

На лавке своей государь один любил сидеть. Даже в тот семейный приезд улучил минуту.

Дрожал островок мошки в теплом воздухе, и сам воздух над рекою вздрагивал – этак вздрагиваешь, покрывшись вдруг мурашками в тепле с пронзительного холода, – зима из тела земли вон выходила.

Река лилась, причмокивая, всхлипывая, как сладко присосавшийся к коровьему вымени теленок.

Тепло было раннее, но стойкое, и пахло уже поднятой сохами землей.

– Спать, государь, пора, – подошел к царевой лавке Петр Семенович Хомяков.

– Иду, Петр Семенович. – Царь встал, поглядел на молодые голые дубки, силившиеся подпирать теплое низкое небо. – Как бы дождь завтра не зарядил. В дождь птицы не полетят.

– За ночь весь выльется – небо синей будет.

Дождь и впрямь загулькал среди ночи.

– Ишь какой ласковый! – удивился Алексей Михайлович.

– В тебя, государюшко мой, – притуркнулась к мужу Мария Ильинична.

– Совсем меня захвалила, – довольный-предовольный Алексей Михайлович погладил жену по голове. – Охота бы не сорвалась.

– Как мы ехали нынче! – вспомнула Мария Ильинична.

– Да как же мы ехали? – забеспокоился Алексей Михайлович. – По чину ехали.

– На удивление всем ехали! Шведский посол, в щелочку я видела, и тот выбегал глядеть.

– Да уж какая у нас езда... – сказал государь и сам не понял: осудил, что ли?

- Аннушка, сестрица, уж больно радовалась. А на карету свою наглядеться не может.
- Вот и хорошо, что радуется. Лишь бы не завидовала.

* * *

Пустили соколов Беляя да Промышляя – двух дикомытов³, пойманных уже после того, как успели перелинять на воле, птенцов высидеть.

Хорошо летели. Гораздо высоко.

- Не пора еще, рано на охоту выехали! – забеспокоился Хомяков. – Не слазят на уток.
- Давай холмогорских попробуем пустить, северных! – загорелся Алексей Михайлович.
- Разве что молодиков? Лихача да Бумара.
- Пускай!

Пустили.

Оба залетели безмерно высоко, и Бумар на охоту не пошел, а Лихач кинулся с неба на озерцо и напал сразу на два гнезда шилохвостей. Утки брызнули по озеру, хлопоча крыльями в беспокойстве, а Лихач ушел в небо, кинулся на гнездо чирков, согнал птиц с гнезда и снова ушел в небо, выбрал жертву, и погнался шилохвоста по озеру, и ударил по голове. Утка закрутилась, кувыркнулась и ушла под воду.

- Худо заразил! – крикнул государь. – Стрелять ее надо.

Утка вынырнула, подплыла к берегу, и все увидали, что у нее не только голова побита, но и живот распорот – кишки вон. Шилохвост выбрался на берег, и тут небо для него закрылось. Это Лихач сел на добычу.

– Скачет! Скачет! Братец скачет! – кричала царевна Татьяна Михайловна, хлопая в ладоши.

Алексей Михайлович подскакал, соскочил с лошади.

– Вот, государыни! Первая добыча! – И передал Марии Ильиничне шилохвоста. – Лихач добыл, молодец холмогорский.

– С почином тебя, государь! – Царица поцеловала мужа троекратно, и сестры облобызались с ним, и мать Марии Ильиничны. Шагнула было и Анна Ильинична, да вспыхнула: положено ли ей? Алексей Михайлович сам подошел, поцеловал в губы, и губки те дрогнули обидчиво, и глаза как бы пеленой подернулись. Надо же ведь! Увидала в тот миг, как царь ее целовал, своего суженого. Тоже ехал на женский холм, ехал, сидя тяжело, боком, словно снизу его то ли кололо, то ли припекало.

– Борис Иванович! – полетел воспитателю навстречу Алексей Михайлович. – Как Лихач шилохвоста заразил! Любо-дорого! Так заразил, что кишки вон!

Морозов понимающе кивал, но было видно, что другим его мысли заняты.

– Великий государь, гонец от Никиты Ивановича Одоевского. Казачий запорожский полковник Хмель с чернью и татарами на украины идет.

- Эти гонцы всегда не вовремя! Когда я в радости, пусть на другой день явятся.

– Великий государь, в Москву меня отпусти! Нужно объявить службу всей земле... Не то страшно, что татары идут, – не впервой! Страшно, что полковник чернь увлек. Наши-то холопы как кинулись к тебе на Вербное с челобитьем! Пока весть о Хмеле до народа не дошла, нужно казнить челобитчиков. Чтоб другие знали свое место.

– Делай как знаешь, Борис Иванович, а я потешусь! Сначала-то пустили дикомытов, а они на уток не слазят. Петр Семенович испугался: рано, мол, с охотой затеялись. А молодиков пустили – другое дело.

- Ни пуха тебе ни пера, государь!

³ Дикомыт – молодая ловчая птица, пойманная на воле после первой линьки.

– К черту! – засмеялся Алексей Михайлович и ускакал в поле.

Казнь холопов

Базары в Москве бывали по средам и пятницам. Зимой торговцы устраивались у Кремля, на льду Москвы-реки. Летом – у Василия Блаженного.

Москва жила по-прежнему.

Неделю назад, 22 апреля, царь объявил «службу всей земле». Одним дворянам надлежало ехать в Яблонов, Белгород, Ново-Царёв. Другим без мешканья – в столицу.

Указ города не переполошил. О татарском набеге и не судачили почти: то ли будет, то ли нет, а коли будет, остановят, не допустят до Москвы. Судачили о Петре Тихоновиче Траханиотове. Он 23 апреля справил новоселье. Такие палаты отгрохал – боярам иным на завидки.

Челобитные дождем сыпались. Траханиотов забирал половину жалованья у подьячих своего Пушкарского приказа, не платил пушкарям. Плещеев грабил купцов, забирая меха и все, что стоило дорого.

На пиру в палатах Траханиотова Анна Ильинична была. На женской половине. Жена Петра Тихоновича – сестра Бориса Ивановича. Траханиотовы стали родней Милославских.

На пирах еда и питье Анну не радовали. Ее сажают рядом с хозяйкой – сестра царицы, жена правителя. Слово скажешь – ловят. Улыбнешься – смотрят, кому эта улыбка. Кто-то уже в обиде, не поглядела, не приласкала вопросом о здоровье.

Но вот будни. Борис Иванович при делах. Нынче у него с капитаном Иноземного приказа разговоры. Капитан Вынброк прибыл из Англии, бежал от Кромвеля, от тирана. О Кромвеле Борис Иванович хотел знать, каков он и что от него ждать.

Дом Бориса Ивановича – диво дивное, но старый ревнивец заставляет служанок смотреть за каждым шагом своей молодой жены. С холопами наедине чтоб ни на минуту без пригляда не оставалась.

Анна Ильинична решила Федосье Соковниной поплакаться.

Выехала через Спасские ворота, на Красной площади толпа, не проехать и уже не развернешься.

– Что стряслось? – спросила Анна Ильинична своего начальника стражи.

– Холопы Москвы подали царю челобитную: просят дать им волю.

– А ведь он тоже холоп! – ахнула про себя Анна.

Толпа гудела, как развороченный медведем улей.

Подьячие на все четыре стороны читали в толпу царский указ: семьдесят холопов-челобитчиков были помилованы, смертную казнь государь заменял им ссылкой в Сибирь. Но шестерых заводчиков поставили на Лобное место.

Место казни было оцеплено драгунами.

Казнили холопов поодиночке. Покатилась первая голова, вторая...

– За что?! – крикнули в толпе.

– Христопродавцы!

– Царя! Пусть царь выйдет!

В мертвое пространство между Лобным местом и толпой выскочил на коне Плещеев, погрозил плетью.

– погоди, Плещей! И твоя голова так-то вот попрыгает! – звонко крикнули из толпы.

– Гони! Бей! – приказал Плещеев, и его люди принялись буравить людское море.

Толпа шатнулась, наперла, цепочка стрельцов лопнула.

– Плетьюми! – крикнул Плещеев.

Толпу погнали.

– Что вы стоите? Хватайте зачинщиков! – орал Плещеев.

– У меня такого приказа нет! – ответил драгунский полковник, и его драгуны с места не тронулись.

Анна Ильинична сидела в каретке, забившись в уголок. Наконец толпу разогнали.

Поехали.

– Ты что такая бледная? – перепугалась Федосья, глядя на Анну Ильиничну.

– Как снег станешь! – Супруга всеильного боярина всплакнула наконец. – До смерти напугали!

Рассказала о казни челобитчиков, о бунтующей толпе, о Плещееве. А потом обняла, расцеловала Дуню.

– Прости меня, голубок! Мне с Федосьей посекретничать надо.

Остались с глазу на глаз, и Анна расплакалась без удержу.

– Несчастнее меня в Москве нет никого! Погляди на молодуху, погляди, глаз не пряча. Бедра любого молодца на грех наведут. Талия-то какая! Грудь невелика, да тоже на загляденье. Очи, губы, ланиты! Федосья, разве я нехороша?

– Хороша, – сказала Федосья, смущенная странным разговором.

– Скажи! Разве не моложе я сестры моей, но царю ее красота легла на душу. И слава богу! Мне большой боярин достался. Как он скажет, так и будет на Русской земле. А я на холопов глазами стреляю. Бабу во мне разбудили, и голодна я теперь любовью, как лютый волк на Святки! – Повисла на Федосье. – Бога ради, не выходи замуж за старого.

Поиграла бусами, покрутила руками в перстнях.

– Вон какие огни камешки пускают. Но сниму и останусь ни с чем, золото само по себе, а вот любовь – это жизнь. И ничья-нибудь – твоя.

Утешая Анну, Федосья перебирала ей волосы, и Анна вдруг заснула. Коротко, но сладко.

Потом ходили в девичью, смотрели вышивки.

Пообедали.

И вдруг приехал Борис Иванович.

Федосье показалось: ближний боярин обрадовался, что Анна Ильинична у Соковниных.

Уезжать не торопился. Заговорил с Федосьей, увидевши на окне польскую книгу.

– Кто это у вас читает?

– Я читаю, – сказала Федосья. – Это жарты польские или факции. Смешные рассказы. Тут о Диогене, о Сократе, об Аристиппе – философе царя Александра.

Борис Иванович удивился.

– Ты знаешь философов?

– Знаю, что они были, – ответила Федосья.

– Ну и что пишут о Диогене?

– Здесь только смешное. Спросили Диогена, в кое время подобает обедать и вечерять?

Диоген ответил: «Богатый ест, когда захочет, убогий, когда имеет еду».

– Мудро! – улыбнулся Борис Иванович. – А это, я вижу, рукописная книга.

– Из «Римских деяний» списывала.

– Ну а скажи мне, кто из великих царей тебе более всего поразителен.

– Александр Македонский, – сказала Федосья.

– Ты даже не задумалась. Чем же он привлек тебя? – Глаза у Бориса Ивановича стали злые. – Тем, что он был молод?

– Нет, не потому, что он был молод, – сказала Федосья. – То, что он был в Египте, в Персии, в Индии. Где был, там стало его царство.

– Умер, и Греция стала маленькой Грецией.

– Вина молодости, – изумила Федосья Бориса Ивановича.

– Это почему же?

– Страны, где был Александр, видели в нем завоевателя. Если бы Господь дал ему долгую жизнь, то все народы познали бы добрую волю полководца. Увидели бы выгоду большого царства перед малым. Малое – лакомый кусок для сильного.

Борис Иванович даже руками всплеснул.

– Как жалко, что уезжать пора! На вечерню скоро.

Прощаясь, Анна шепнула Федосье:

– Он умный, а мне не ум надобен. Я хочу ребенка.

Битая к празднику

17 мая 1648 года Алексей Михайлович и царица Мария Ильинична отправились в Троице-Сергиеву лавру на богомолье по случаю Троицы, а также испросить благополучия чаду во чреве, ибо царица была тяжела.

Перед отъездом оружейничий Григорий Гаврилович Пушкин показывал царю чеканные оклады на образ Алексея – человека божьего и на образ Марии Египетской. Государь заказал эти оклады в тот же день, как узнал, что царица понесла.

Москва готовилась к Троице. Люди наряжали дома зелеными ветками.

Федосья и Дуня в комнатах сами устанавливали березки, посыпали полы травой, с чабрецом, с веточками смородины, со стеблями мяты, душицы.

Дуня прилаживала березки по бокам голанки в зеленых изразцах.

Получалось красиво.

Федосья на сестру засмотрелась.

– А ты уже не Дуня. Ты у нас Евдокия.

Дуня смотрела на Федосью, морща лоб – не поняла сестру.

– У тебя в руках березки-девочки, но сама ты уже белая березонька.

– Это ты березонька! – Дуня любила сестру. – Тебе уже шестнадцать.

Федосья засмеялась.

– Нашла чему позавидовать. Тебе до шестнадцати целых три года. Столько чудес насмотришься!

– Это ты чудес насмотришься! – не согласилась Дуня. – Тебя к царице раньше возьмут.

Федосья вздохнула.

– Я другие чудеса люблю. Помнишь, в Переславль ездили? Какие перекаты! Не земля, а море. Все волны, волны. А собаку... В Переславле я ночью во двор выходила. Звезда упала. Летела, искрами сыпала.

– А меня не позвала!

– Так это же звезда. Я желанье не успела загадать! – Подняла руку. – Кто-то приехал.

И быстрые шаги: Анна Ильинична. С порога тянула руки к Федосье, плакала взахлеб.

Сели на лавку под окном.

– Дуня, воды! – послала сестрицу Федосья.

Анна воду пила, но плакала еще горше.

– Он меня ремнем отстегал!

– Да как же так? – растерялась Федосья: отстегать ремнем боярыню, сестру царицы мог разве что муж. А муж-то Борис Иванович.

– Еще чего принести? – спросила Дуня.

– Вина хочу! – сказала вдруг Анна Ильинична.

Дуня пошла к матери приготовить угощенье. Понимала: Анне Ильиничне надо душу излить.

– Он меня ремнем отстегал! – снова сказала боярыня, и глаза у нее стали сухие.

Спросить, что стряслось, Федосья не могла, а гостье, видимо, очень хотелось услышать вопрос: за что муж учил? Федосья гладила Анну по височку.

– Складная у тебя рука! – Анна повернулась, смотрела в глаза Федосье. – У меня любовник. Я все извела!

Анна глаз не отводила.

– Напугала?..

– Не знаю. – Федосья опустила веки.

– Полюбовника моего Борис Иванович в леса послал, поташные ямы устраивать. Может, кто и спихнет в огонь... Но со мной ничего уже не поделаешь. Я бабьего счастья сполна вкусила! – Рассмеялась весело, легко. – Я опять заведу. Десятерых заведу!

Федосья потянулась к иконам, Анна тоже смотрела на Богородицу, на Христа.

– Не меня надо наказывать. На мне грех вот такусенький, – показала щепоть. – А тот, кто молодую, будучи стариком, женой назвал, согрешил перед Богом непростительно. Меня Господь пожалеет, за меня Богородица заступится, а ему будет худо... Мои слезки отольются!

Пришла Анисья Никитична, слуги накрыли стол, поставили осетра. Вино нашлось фряжское.

Анна Ильинична пила за здоровье царя, царицы, Прокопия Федоровича, Анисьи Никитичны, Федосьи, Дуни и свое.

Анисья Никитична подняла было чару заздравную за Бориса Ивановича, но Анна Ильинична показала шиш.

– За кучера выпьем, за лошадей. За каждую лошадку, а у меня их восемь.

Царя и царицу возили десять лошадей, Борис Иванович равнять себя с государем не смел, брал породой. Его лошади все заморские, каждая – чудо.

После застолья Анну Ильиничну положили отдохнуть, проспаться. А домой она поехала с Федосьей и Дуней, чтоб Борису Ивановичу не пришло на ум злое.

Но Борису Ивановичу о своих горестях пришлось забыть.

В Москве было беспокойно. Думный дьяк Назарий Чистой выдал полковнику драгунского полка Лазореву семь тысяч рублей. По полтине на месячный корм и по рублю на платье. Полк отправляли на южные границы оберегать царство от крымских татар. Посему быть дадено Лазореву еще три тысячи рублей – жалованье донским казакам.

Драгуны, вся тысяча, пришли в Лужники, где теперь была их ставка, получить жалованье, но, узнавши, сколько им дали, затеяли с Лазоревым спор.

Лазорев обещал похлопотать, но просил получить то, что есть.

Из тысячи драгун по полтора рубля согласились взять четыреста человек, остальные, сговорясь, решили стоять твердо. Перед походом хотели получить жалованье сполна: по одиннадцати рублей.

Дьяк Чистой услышал о недовольстве драгун и приказал Плещееву недовольных разогнать.

– В Воронеже дешевых наберем!

Полковнику Лазореву было велено с четырьмя сотнями покладистых собираться в дорогу.

Непокорных Плещеев вышибал из Девичьей слободы. Его люди врывались в избы, отбирали у драгун оружие, самих выставляли на улицу – ступай на все четыре стороны. Семейных тоже не миловали. Выкидывали скарб, что получше – забирали.

Две телеги добра привезли рукастые слуги Плещеева на его двор. Жена Плещеева с прислугой принялась разбирать барахлишко, что себе, что дворне, а что в приказ – ярыжкам.

Бездомные драгуны бродили по Москве, напивались, ломились в дома, требуя пустить на постой.

Челобитчики

Назарий Чистой возвращался верхом из Лужников. Отвозил приказ полковнику Лазореву: 2 июня выступить с драгунами в Воронеж. Недовольные Москве не надобны.

Именно 2 июня был назначен крестный ход из Кремля в Сретенский монастырь с чудотворной иконой Владимирской Пресвятой Богородицы. Праздник был установлен в 1514 году и совершался ежегодно 21 мая. Однако, по случаю царского богомолья, крестный ход перенесли.

Назарий ехал к себе домой в Кремль в самом мрачном расположении духа, словно бы грозовая туча стала над Москвой, томит, а разразиться никак не может. И вдруг дьяк увидел черную корову.

Корова бежала навстречу, встряхивая головой, и с губ ее падала пена. Бешеная!

Лошадь, не слушая узды, пошла вскачь, корова метнулась к лошади, ударила рогами, и Назарий Чистой вылетел из седла.

Он очнулся дома, пошевелился и понял – расшибся здорово, но не до смерти.

– Вот гроза и грянула! – ухмыльнулся Назарий, вспомнив свои мрачные предчувствия.

* * *

В тот день, 1 июня, Алексей Михайлович возвращался в Москву. У заставы государя встречали князя в боярском чине Михаил да Иван Пронские, окольный князь Ромодановский, думный дьяк Волошенинов, которым государь поручил ведать Москву в свое отсутствие.

Управители доложили о тишине и покое в стольном граде, а народ, высыпавший на погляденье, поднес государю хлеб да соль. Подносили хлеб не из простых, не холопы какие-нибудь, а богатейшие посадские люди. Говорили они царю вежливо, о всяком благополучии, тут бы и конец церемонии, но вдруг все они поклонились царю до земли и стали молить, чтоб великий государь пожаловал их, принял бы у них челобитную в собственные руки – о притеснениях и насилии царевых начальных людей, а особливо Плещеева.

– Мне нельзя принять! – сказал государь. – По чину делайте.

– Разойдитесь! – приказал Волошенинов.

Стрельцы бердышами потеснили благонамеренных просителей. Толпа заулюлюкала, надавила.

– Разгоняй!

Конная стража плетью погнала людей прочь с царского пути. Но едва царь и его свита удалились, как у заставы опять собрались посадские люди и решили ждать царицу: Алексей Михайлович челобитную не принял, может, Мария Ильинична смиростивится.

Богатые посадские люди причесывали бороды, оправляли одежды, приготовили хлеб и соль, но их потеснили холопы.

– Вы хоть и тугие кошельки, и вид у вас боярский, – сказал им дворник Протаска, – а почет вам такой же, как и нам. – Повернулся к своим: – Ребята! Не мешкайте. Как царицына карета подойдет, налегай на стрельцов, а я подбегу к карете да и суну челобитную в собственные ее величества ручки!

– Хуже бы не было! – испугались богатые горожане.

– Хуже не бывает! Ребята, помните: всем миром друг за друга надо стоять!

* * *

В жизни все быстрее случается, чем словами про то, что случилось, рассказать.

Народ увидал карету, стрельцов, важного старика, шагавшего пешком за каретой.
– Морозов! – узнали в толпе.

Заорали, побежали, хватали за дверцу кареты.

– Чего они хотят? Чего дерзят? – крикнула царица.

Возле кареты стоял Морозов и быстро, хрипло отвечал царице:

– Этих молодцов нужно всех перевешать. Распоясались!

Стрельцы окружили самых смелых, погнали бегом: в стрельцов из толпы летели камни и палки.

Досталось и боярам, а больше всех Семену Пожарскому – лицо камнем рассекли.

Арестованных было шестнадцать человек, их отвели в Цареконстантиновскую башню, где был застенок.

* * *

Царица Мария Ильинична донесла слезы до своих покоев, перед Анной Михайловной Ртицевой расплакалась.

– Боже мой, какие они все страшные! Они хотели убить милого, доброго Бориса Ивановича. Я слышала, они грозили ему. Страшно! Живешь и не знаешь, как страшно жить!

К царице пришел государь. Сел с ней рядышком, по плечу гладил.

– Такая уж наша судьба, у царей! То ничего-ничего, все живут, все довольны, а потом – раз! Как шлеей под хвост. Бегут, орут, бьют.

– Но чего они хотели?

– Они всегда чего-нибудь хотят. Бориса Ивановича грозились убить, а кто посад им устраивает? Борис Иванович. Кто налог на соль отменил? Борис Иванович. Никто о простых людях так не печется, как Борис Иванович... Чернь благодарной не бывает.

* * *

В застенке человека, поднятого на дыбу, Борис Иванович сам спрашивал:

– На чем боярском дворе писали челобитную? Кто вас подослал царице челом ударить? Палачи!

Палачи старались, трескали кости, но поднятый на дыбу молчал.

– Ну так и навеки у меня разговаривать разучишься! – взъярился боярин. – Отрезать ему язык.

Палачи открыли рот упряму и ахнули:

– У него язык до нас отрезали.

– Тьфу ты, пропасть! Снимите его! Ради завтрашнего праздника не трогайте их больше. В субботу приду!

Перед сном Борису Ивановичу доложили:

– В Москве тихо.

Бунт

В пятницу, 2 июня, государь с боярами вышел на Красное крыльцо, чтобы следовать в Успенский собор, а оттуда с патриархом, митрополитами, архиепископами, игуменами и протопопами идти крестным ходом в Сретенский монастырь.

У Красного крыльца стояла праздничная толпа, на небе было чисто, дул несильный теплый ветер, и государь, улыбаясь, сошел по ступеням к народу. Толпа разом пришла в движение, заколыхалась, потянулась к государю.

– Великий! Великий! Молим тебя! Защити от лихоимства начальных людей! Спаси от Плещеева! Погибаем!

Государь отпрянул, нашел ногой ступеньку, поднялся.

– О чем вы просите?

– Назарий Чистой ограбил! Плещеев ограбил! Траханиотов!

– Напишите челобитную! – крикнул государь.

– Писали! Вчера тебе хотели дать.

– Защити!

– Отпусти наших челобитчиков! Вчера Морозов их схватил. В застенке мучит.

Алексей Михайлович гневно повернулся к боярам, нашел глазами Морозова.

– Борис Иванович! Как ты осмелился, меня не спросясь, взять под стражу добрых людей?

Громко сказал, грозно.

Морозов опустил голову.

– Виноват, великий государь!

– После крестного хода я сам разберу ваши просьбы, – пообещал государь обрадованной толпе.

– Кланяемся тебе! – кричали люди. – Многие лета государю! Многие лета!

* * *

Крестный ход вышел из Кремля под радостные и одобрительные возгласы успокоенного народа. Впереди с крестом шествовал государь, но на Красной площади наперерез процессии выкатилась, как огромный пчелиный гудящий рой, другая толпа – из московских слобод пришли посадские люди.

– Да когда же это кончится! – крикнул государь, оборачиваясь к боярам.

Патриарх Иосиф осенил новую толпу архиерейским крестным знаменем.

– Православные, успокойтесь! Не препятствуйте богоугодному делу. Не гневайте Господа!

– Царь, ребят наших освободи! – закричали из толпы. – Освободи! Они зла не чинили, челобитную тебе несли!

– Царь! Вели Плещеева в застенки посадить!

– Да в чем же провинился Леонтий Стефанович?! – воскликнул Алексей Михайлович.

– О-о-о! – взревела толпа. – Грабит! Всех! Всех грабит! И бедного грабит! В дома врывается! Товары берет – денег не платит! Людей невинных сажает в тюрьму, чтоб взятку с них спросить.

– Да это же разбой! – вскричал государь. – Православные, обещаю вам, придя из монастыря, во всем разобраться. Сегодня же!

Опять гул одобрения. Толпа распалась, давая дорогу крестному ходу.

* * *

Во время молебна к Алексею Михайловичу подошел думный дьяк Волошенинов, ведавший сыском политических противников царя.

– Великий государь, пешим идти в Кремль опасно. На улицах толпы холопов и посадских людей, к ним присоединилась часть стрельцов и разогнанных дьяком Чистым драгун.

– Я поеду на лошади, – согласился государь.

...Коня схватили за узду.

– Стой, государь! Выполняй свои обещания!

Волошенинов конем сшиб наглеца, но из толпы передали челобитную.

– Прими, государь!

– До того ль теперь великому государю! – закричал Волошенинов, выхватывая и разрывая челобитную. – Не останавливайся, государь.

Бояре, ехавшие за Алексеем Михайловичем, принялись кто плетью, кто посошком бить обнаглевшую чернь.

– Господи, пронеси! – шептал Алексей Михайлович, страшась поднять глаза на бушующую стихию толпы; он на бродячих собак глядеть боялся, бежит мимо – пусть себе бежит, а поглядишь на нее, она и привяжется.

Народ за государем следом повалил в Кремль.

– Почему стрельцы не закрыли ворота? – кричал на своих подручных Морозов. – Уж я прознаю, чьи это происки!

Приказал московскому стрелецкому войску, всем шести тысячам, прибыть в Кремль, очистить его от народа, да и на Красной площади чтоб ни единой души!

* * *

Бунт бунтом, но пора было садиться за праздничный стол. Государь обедал сегодня с патриархом Иосифом, с Морозовыми, Борисом Ивановичем и Глебом Ивановичем, с Ильей Даниловичем Милославским, с Никитой Ивановичем Романовым, князем Темкин-Ростовским и оружейничим Григорием Гавриловичем Пушкиным.

– Видно, Бог наказывает! – пожаловался государь. – Я, пребывая в счастье и радости, забыл о моем богомольце Никоне, а уж он доставил бы мне челобитную от обиженных, и не было бы сегодняшнего ужасного дня.

– Коли заноза загноила, пусть созреет нарыв да и лопнет! – сказал Морозов. – Теперь все зачинщики на виду.

Долгим взглядом поглядел почему-то на Никиту Ивановича Романова.

– Да где же их сыскать теперь, зачинщиков? – удивился Алексей Михайлович. – Вся Москва на улицы высыпала... Ах, Плещеев! Леонтий Стефанович! Сегодня же взять его и спросить за все неправды!

– Великий государь! – воскликнул Борис Иванович. – Надо еще разобраться, кто на Плещеева поклеп возводит! Плещеев – человек строгий. От пьяных Москву избавил, от убийц. Они-то и кричат небось громче всех!

Никита Иванович Романов засмеялся.

– Неблагодарное у тебя дело, Борис Иванович, – такого черного разбойника взялся обелить... Да у них в роду это! Забыл, что ли, деяние брата Леонтия Стефановича? Где он ныне? В Нарымском остроге?

– А что его брат совершил? – спросил государь.

– Да в каком это было?.. В сорок первом году! – вспомнил Никита Иванович. – Чтоб самому поживиться и слугам своим заплатить, старший Плещеев поджег домов сто. Дом подожгут и помогают барахлишко из огня вытаскивать, а после такой помощи хозяин гол как сокол.

– Брат за брата не ответчик, – сказал Морозов. – Но вот кто нынешний гиль⁴ заводит, я, государь, клянусь тебе, скоро распознаю.

– Господи, не унимаются! – сказал Алексей Михайлович, прислушиваясь к долетавшему в покои гулу толпы.

Ложку отложил.

– Пусть государь кушает спокойно, – сказал Борис Иванович. – Я вызвал стрельцов. Скоро наступит тишина.

В столовую палату вбежал дьяк Волошенинов.

– Государь! Народ ломится в Терем! Долго не сдержим!

– Стрельцы прибыли? – спросил Морозов.

– Прибыли, но они нам не помогают.

Алексей Михайлович встал.

– Князь Темкин-Ростовский, выйди к народу да скажи, что тех, кого вчера взяли под стражу, государь велел отпустить. А ты, Борис Иванович, без промедления дай волю всем вчерашним зачинщикам. Отпуская, покажи народу.

Едва князь Темкин-Ростовский вышел на Красное крыльцо, его сдернули со ступенек.

– Пусть сам царь выйдет! А князя его под залог берем!

Кравчий ставил перед царем одно блюдо за другим, но Алексей Михайлович ни к чему не притронулся.

– Боярин Григорий Гаврилович, – обратился государь к Пушкину, – поди ты к ним. Скажи, что государь печалует на такое непокорство. Пусть без мешканья отпустят князя.

С Пушкина сорвали платье, били кулаками куда ни попадя, еле дворцовая стража выхватила, втолкнула во дворец. Государь стоял у окна и все видел. Перекрестился, подошел к патриарху.

– Благослови, святой отец.

Пошел.

* * *

Толпа прибывала. Среди простолюдинов стояли, не мешая бесчинству, стрельцы.

– Вышел! Вышел!

– Что означает такое неотступное!.. – крикнул государь, и голос у него сорвался. – Такое неотступное домогательство?

– Где наши товарищи? Ты обещал отпустить! – ответили государю.

– Вот они! – Из дворцовых дверей выпускали по одному вчерашних зачинщиков.

– Плещеева своего выдай! – не успокоились бунтовщики.

– Я хочу сам расследовать, в чем вины Леонтия Стефановича, – ответил государь. – Пусть он за свои худые дела держит ответ. А наказание ему будет самое строгое.

С тем государь удалился, а Морозов, не появляясь перед толпой, приказал стрелецким полковникам построить войско и выбить не унимавшуюся толпу из Кремля.

Раздались команды, но стрельцы, поднявшись на крыльцо, крикнули народу:

– Люди! Не бойтесь нас! Кричите громче, чтоб сегодня же выдали нам изменщика и тирана Плещеева! Мы – с вами!

Стрельцы выбрали десять человек, и те пошли к государю и сказали:

⁴ Гиль – вздор, чепуха.

– Великий государь Алексей Михайлович! За тебя мы готовы голову положить, но за лютого супостата Плещеева нам не стоять! А если за него пойдем, то будет нам от людей вечное проклятие! Выдай, бога ради, Плещеева, пока дело не дошло до большой беды.

Алексей Михайлович снова вышел на Красное крыльцо.

– Мой кроткий, добрый народ! – воскликнул он со слезами. – Видно, крепко тебя обидели, коли ты в таком смятении и буйстве. Но Богом вас молю, люди! Не проливайте крови в пятницу. Завтра я выдам вам головой Леонтия Стефановича.

* * *

Морозов сложа руки не сидел. Он послал верного человека с приказом своим дворовым холопам вооружиться и напасть на изменников-стрельцов.

На кремлевских площадях завязались драки. Одного старика-стрельца зарезали.

Стрельцы кинулись в царские палаты.

– Великий государь, защити от Морозова! наших людей слуги его калечат и до смерти ножами режут!

– Защитите вы меня от самоуправства слуг Морозова! – ответил Алексей Михайлович. – Если они позволяют себе слишком много, то отомстите за себя!

Неосторожные вырвались слова у государя.

Прямо из царевых палат стрельцы и толпа кинулись к кремлевскому дому Бориса Ивановича Морозова.

Анна Ильинична стояла в горнице, подняв над головой икону Спасителя.

Икону у нее вырвали, разбили. Боярыню вытолкали из дома, приговаривая:

– Не будь ты сестра царицы, мы бы тебя изрубили на мелкие куски!

И начался погром.

Морозов, заботясь о казне, платил стрельцам голодное жалованье, и стрельцы ему припомнили теперь свои обиды.

Драгоценные иконы разбивались топорами, платья рвали и резали, жемчуг и драгоценные камни толкли в порошок и выкидывали в окна.

– Не трогайте! То кровь наша! – кричали бунтовщики.

Серебряная карета, стоявшая под особым навесом во дворе, вызвала у народа неистовую злобу. Снаружи и изнутри карета была обита золотой парчой, подкладка на соболях, ободы на колесах, чеки, гвозди – все из серебра. Карету протыкали, резали, сминали дубинами.

Кинулись в погреба, откупоривали бочки с медами, винами, водками. Напились, но выпить все сил не хватило, бочки разбили. Вина в подвалах набралось по колено, а в доме уже разложили несколько костров, огонь добрался до подвалов, и в небо пыхнул столб синего пламени, пожирая постройки и людей.

Но основная толпа давно уже покинула разоренное гнездо Морозова и ломилась к Назарию Чистому – солянному королю.

Думный дьяк, как услышал, что грабят Морозова, кликнул слуг, чтоб они вынесли его из дома, но болящего бросили. Слуги, не дожидаясь прихода стрельцов и толпы, успели разбежаться.

С помощью мальчика на побегушках Назарий забрался на чердак, укрылся под березовыми вениками и попросил мальчика, чтоб он забросал его копчеными окороками.

Толпа вломилась в открытые двери и тотчас схватила мальчишку, который уже набил карманы золотыми монетами, но не успел улизнуть из дому.

– Убьем! Где кровопийца?

Мальчик показал пальцем на потолок.

Назария сдернули с чердака за ноги, били палками по голове, пока не расплющили. Труп раздели донага и бросили на навозную кучу.

– На Плещеева! – звали толпу вожаки.

– На Траханиотова! В новые палаты! – кричали другие. – Петр Тихонович тоже на соляной казне руки погрел!

– А Пушкина забыли? Его аршин да весы?

– Всех бояр надо искоренить!

Толпа разделилась, кинулась по Москве, освободила Кремль.

* * *

В тот день было разграблено семьдесят лучших домов.

В Китай-городе – дом Никиты Ивановича Одоевского и дом Михаила Михайловича Салтыкова. В Белом городе, на Дмитровке, – дома дворецкого Алексея Михайловича Львова, боярина Григория Гавриловича Пушкина, боярина Глеба Ивановича Морозова, на Петровской – дом Василия Толстого... Многим досталось. За обиды платили разом и сполна.

Смерть Плещеева

Водя необыкновенно длинным перстом по строкам Библии, Никон читал книгу пророка Даниила, взглядывая на прихожан страшными, пронизывающими глазами. Вдруг он закрыл книгу, застегнул на застёжки и долго стоял молча, глядя поверх голов.

– Великий Навуходоносор, царь царей, был лишен Господом ума и семь лет, подобно волу, питался одною травой. По прошествии сего времени Навуходоносор вместе с рассудком возвратил прежнее благоденствие. Так наказывает Господь забывших страх. Так Господь награждает тех, к кому вернулся рассудок.

В редких церквях служили в тот день вечерню. Попрятались попы от рассерженных людей.

В церкви Новоспасского монастыря службы шли чередом, и всякий раз Никон говорил людям слово, уча страху Божьему.

Государю о том доложили, и он попросил, чтоб Никон помолился за здоровье царицы. Напуганная буйством толпы, беременная царица заболела.

В Кремле было тихо.

Борис Иванович Морозов, окруженный дворцовой стражей, ходил на пожарище.

– Я заплачу им за каждый уголок разоренного моего гнезда, – сказал он, словно бы поклялся, и отдал приказ – собрать наемных офицеров и солдат из немцев и привести в Кремль для обережения государя и государыни.

* * *

Всю ночь Алексей Михайлович молился в своей спальне с юродивым Васькой Босым. Молился и плакал. Васька Босой стоял у двери и время от времени выл – так воют собаки, предвещая беду.

Под утро Федор Михайлович Ртищев, уговаривая государя отдохнуть, доложил, что ворота в Кремль затворены. Охрану несут стремянные стрельцы и сокольники, а скоро должны подойти немецкие офицеры.

– Что мне охрана! – воскликнул Алексей Михайлович. – Я не за себя молю Господа, за мое дитя!

Когда к Спасским воротам строем подошли немецкие солдаты и офицеры, на Красной площади уже стояла толпа. Против ожидания народ встретил наемников дружелюбно.

– Вы – честные немцы! Не делаете нам зла. И мы вас не обидим.

Солдат пропустили в Кремль и принялись требовать выдачи Плещеева.

В ответ из Кремля пальнули холостым залпом. Люди кинулись прочь.

Набатом ударили колокола Василия Блаженного, звон подхватили другие церкви, Москва содрогнулась под зловещими воплями людей, а Красная площадь стала темной от великой грозящей толпы.

Молчавшие колокола кремлевских церквей тоже ударили вдруг грозно, торжественно. Ворота Спасской башни распахнулись, и с иконою Владимирской Божьей Матери вышли к народу на Лобное место патриарх Иосиф, митрополит Серапион Сарский и Подонский, архиепископ Серапион Суздальский, архимандрит Никон и другие архимандриты, игумены и весь чин священный.

От бояр великий государь выслал к народу своего дядю, боярина Никиту Ивановича Романова, боярина князя Дмитрия Мамстрюковича Черкасского, боярина князя Михаила Петровича Пронского, а с ними многих дворян. Может быть, первый раз в жизни снял боярин Никита Иванович высокую свою шапку перед простыми людьми.

– Отец наш! – закричали из толпы. – Утешь! Скажи нам доброе слово!

– Всем миром утолим гнев необузданный! – сказал Романов и покрестился на кремлевские кресты. – Великий государь горестно сокрушается, взирая на беду, постигшую его прекрасное государство. Целую ночь глаз не сомкнул. Молился и плакал с божьим человеком Васькой Босым.

– Да мы все предовольны его царским величеством! – закричали в ответ из толпы.

– Слава! Великому государю Алексею Михайловичу слава!

– Многие лета тишайшему царю-батюшке!

– Как хорошо вы говорите! – прижал к груди руки Никита Иванович. – Государь надеется на вашу доброту и разумность. Он просил меня сказать вам, что как обещал вчера прилежно рассмотреть ваши дела и дать милостивейшее удовлетворение, так свое обещание держит. Народ может успокоиться и разойтись с миром.

– Пусть государь выдаст нам тех, из-за кого приключилась беда! – ответили из толпы.

И разом грянули тысячи глоток:

– Морозова!

– Плещеева!

– Траханиотова!

– Я благодарю вас, люди, что храните верность его царскому величеству! – опять заговорил Никита Иванович. – Я с вами, люди! Виноватых во многих бедах народных нужно наказывать. О всех ваших требованиях я тотчас пойду и доложу его царскому величеству, но я клянусь и целую крест, что Морозова и Траханиотова в Кремле нет. Они бежали.

Тут Никита Иванович поцеловал крест у патриарха.

– Пусть государь немедля вышлет Плещеева! – потребовала толпа.

Никита Иванович поклонился народу, сел на коня и поскакал в Кремль.

Народ кинулся к воротам Спасской башни, и вскоре от государя пришли с ответом:

– Его царское величество постановил выдать Плещеева народу головой – казнить его тотчас на Лобном месте. Если будут найдены другие виновники мятежа, то их тоже казнят. Казнь над Плещеевым совершится, как только доставят палача для приведения царского приговора.

Проворные сейчас же кинулись за палачом, а те, кто был на лошадях, помчались на заставы в погоню за беглецами – Морозовым и Траханиотовым.

* * *

Хоть и ненавидел Никита Иванович Романов выскочку Бориса Ивановича Морозова, но было, когда оно вспоминало, что перед Богом все равны, весь этот народ, перед которым он шапку ломал, Никита Иванович ненавидел лютей Морозова. Потому и грех взял на душу, целуя крест: Борис Иванович был в то время в Кремле, и не просто был, потеряв волю от страха, а, наоборот, все время действовал.

Спасая Петра Тихоновича Траханиотова, и не только от гнева народа – бояре и духовенство, припомнив ему отнятые во Владимире и Суздале земли и людей, могли настоять на немедленной выдаче и казни, – Морозов выговорил у царя указ, по которому Петр Тихонович получил в управление городок Устюг Железный. Он бежал из Кремля ночью тайным ходом.

И за жизнь Плещеева Борис Иванович боролся до конца, а когда понял, что дело проиграно, через тайный ход выпроводил всю свою верную дворню с наказом зажечь Москву сразу во многих местах. Увидят бунтовщики, что пылают их собственные дома, – разбегутся. Тогда и Плещеева можно будет отбить у палачей, бледный, но степенный в движениях, в словах Борис Иванович и царя своим видом успокаивал, и противников своих смущал.

А народ все же проворнее был пуганых холопов Морозова. Бояре не успели еще сообщить Леонтию Стефановичу Плещееву о том, как решена его судьба, а палач и двое его подручных уже протискивались в щель приоткрывшихся Спасских ворот.

– Ради бога, не торопите казнь! – воскликнул Морозов.

– Если мы промедлим хотя бы полчаса, – возразил Никита Иванович Романов, – чернь забудет, что ей Плещеев нужен, и перебьет всех бояр, без разбору.

– Через полчаса Москва будет вновь в моих руках! – твердо сказал Морозов.

– Борис Иванович, забудь о том, что вчера еще не только Москва, но и все Московское царство было в твоих руках, – возразил Яков Куденетович Черкасский. – Мы этого не допустим.

Морозов улыбнулся и слегка поклонился ему. И тотчас закрыл лицо руками: через кремлевскую затоптанную площадь стрельцы вели Леонтия Стефановича Плещеева. Впереди шел священник, позади Плещеева – палачи в красных рубахах.

– Ведут! – крикнула обрадованная стража Кремля.

– Ведут! – прокатилось по площади.

Ворота Спасской башни распахнулись. Люди раздались, давая дорогу страшной процессии.

Леонтий Стефанович шел, задирая по-петушину голову, но к нему тотчас потянулись руки, и он закричал, чуя, что стрельцы не доведут его до Лобного места:

– Люди! Я же не сам! Меня заставляли! Морозов заставлял!

Толпа наседала, и палач взял голову Плещеева под мышку, чтоб не убили прежде времени, без покаяния.

– Ы-ы-ы! – выскочил из толпы человек без языка, выбил Плещеева из рук палача, схватил поперек туловища, поднял, швырнул в толпу.

Плещеева били все, кто только дотянулся. Мозг брызгал на одежды. Били бездыханный труп, таскали, кровавая площадь, наконец бросили. Какой-то монах отсек топором то, что осталось от головы земского судьи.

– Он меня, безвинного, сек!

* * *

– Морозова! – ревела толпа, громяхая в Спасские ворота.

– Траханиотова!

Ворота отворились, из Кремля выехал князь Семен Пожарский с дворянами.

– Люди! Успокойтесь! – крикнул он. – Государь послал меня догнать и доставить в Москву Петра Тихоновича Траханиотова. Государь выдаст его народу головой.

– Морозова! – закричала толпа.

– Морозова в Кремле нет!

– Го-о-рит! – прокатился над Красной площадью вопль. – Белый город горит! И Китай-город горит! И Скород горит! Вся Москва горит!

Князь Пожарский сказал правду: Морозов бежал из Кремля.

По Белому городу крутил огненный смерч. До тайного дома, где когда-то он пытал неугодных людей, Морозову добраться не удалось. Стал пробираться к Неглинному мосту, но тут на улице появилась ватага решительных людей, которая тоже бежала к Неглинному мосту, где стоял самый большой царев кабак.

Борис Иванович отступил в лабиринт узких улочек. Он опять спешил и знал, куда спешит.

Одет он был в платье сокольника: тоже опасно – царев человек, – но все ж не кафтан боярина.

На постоялом дворе было пусто. Морозов юркнул в конюшню, вывел лошадь и стал запрягать в легкий возок. Руки слушались плохо. Ведь не упомнить, когда запрягал лошадь в телегу сам.

– Господи, пронеси! – Руки у Бориса Ивановича дрожали от нетерпения и радости, когда он пристроил вожжи и взнуздал лошадь.

– Эй! – выскочили во двор ямщики. – Эй, мужик!

Борис Иванович вскочил на козлы, шлепнул вожжой по крупу лошади, рванул удила.

– Морозов! Это Морозов! – узнали ямщики и кинулись к своим лошадям.

Пылающей Москвой летел Борис Иванович назад, к Кремлю, к потайному ходу.

– Господи, пронеси!

Крутанул вокруг дома Романова, сбивая преследователей, погнал над Москвой-рекой, попридержал у потайного места лошадь, спрыгнул на ходу, скрылся.

Тотчас возок настигли ямщики.

– Пропал! Истинный дьявол! – кричали ямщики, обыскав возок и каждый кустик над Москвой-рекой.

Пожар

Татары так не жгли, как сами постарались. Три огненных кольца стояло вокруг Кремля, словно сама земля горела. Неба не было – гарь и дым закрыли его на многие версты вокруг.

Все, что было за белой стеной, сгорело: Петровка до реки Неглинной, от Неглинной до Чертольских ворот, за Никитинскими сгорели все слободы, сгорел весь Арбат с известной церковью Николы Явленного, сгорели Остоженка, стрелецкие слободы за Арбатскими воротами до Земляного города. Сгорели Дмитровка и Тверская.

* * *

Загорелся царев кабак возле Неглинного моста. Тушить пожар было некому. Вокруг кабака улица давно уже почернела от напившихся на даровщину до бесчувствия. Из бочек выбивали донья, черпали вино шляпами, сапогами, рукавицами, лакали.

Вдруг появился черный монах; сопя и ругаясь, он тащил на веревке труп Плещеева.

– Эй, помогите! Пожар не кончится, покуда не сгорит в огне проклятое тело безбожника Плещеева.

На помощь подошли несколько человек. Труп подняли, макнули в бочку с водкой, кинули в пламя. И огонь вдруг сник.

* * *

Многие бояре и их жены падали в те дни перед чернью на колени, о пощаде молили.

А вот Авдотья Алексеевна Морозова перед грабителями не дрогнула. Она и не пряталась. Села в кресло лицом к стене с иконами Богородицы и сидела. Слушать уговоров бежать не пожелала, даже от окон отворачивалась.

А по окнам всполохи багровые ходили. Белый город полыхал по реке Неглинной до Петровки, до Чертольских ворот.

Авдотье Алексеевне услужливо сообщили:

– Земляной город выгорает. Пожар за Никитскими воротами, за Арбатскими, за Чертольскими... Двор Львова грабят.

– Двор Пушкина грабят!

Боярыня сопела грозно и молчала.

Опять прибежали с ужасами:

– Стрелецкая слобода занялась! Горит государев Остоженный двор.

Боярыня не отводила глаз от иконы, именуемой Ножевой. Икону сию обрели в пустыне с висящим при ней ножом. Богородица изображена без Предвечного Младенца, с распростертыми руками. В молитве.

Авдотья Алексеевна тоже молилась. Ну что еще может баба, хоть и боярыня, когда у народа вместо веры ярость, жажда разорить богатых.

К Авдотье Алексеевне подослали одну из ее приживалок.

– От греха спрятаться бы! – говорила боярыне умная женщина. – На Красной площади подожгли Кружечный двор, на Кремль вот-вот огонь перекинется.

– Неужто черни не жалко водки? – спросила-таки Авдотья Алексеевна.

– Водку не жалеют. Пьют из всего, что под рукой. Шапками, сапогами, лаптями.

– Сапогами?! – изумилась боярыня. – До чего же умен русский мужик! И лапоточки, говоришь, сгодились?

Тут по дому пошел топот, крики, визг бабий, рев остервенелых грабителей.

В комнату влезло несколько человек проворных. Все подростки. Боярыня встала с кресла, взяла у печи кочергу и пошла лупить наглецов по головам.

– Убивают! – И братва, сшибая друг друга с ног, кинулась прочь от грозной боярыни.

Сенные бабы тотчас подхватили Авдотью Алексеевну под руки, утащили в подклеть, во двор, спрятали в амбаре с кадками, где хранили ячмень да просо.

Тут боярыню и осенило.

– Нынче третье июня. В сей день перенесли мощи царевича Дмитрия, убиенного, из Углича в Москву. Бояр наказывает святой отрок.

Расправа

5 июня Семен Пожарский привез Петра Тихоновича Траханиотова. Нашли его в Троице-Сергиевой лавре, от раки святого отняли и повезли.

Поместили в Земском приказе, царю доложили. Государь приказал: тотчас казнить.

Сердобольный подъячий послал сказать жене Петра Тихоновича, чтоб пришла проститься, но та даже видеть несчастного не пожелала.

– Ради нее добро чужое в дом тащил! – сокрушался Петр Тихонович. – Все напасти – от них! И Леонтий Стефанович, знаю, тоже все жене угодить хотел.

На Лобное место палач вкатил березовую чурку. Положил Петра Тихоновича на чурку головой и отсек голову.

Для устрашения – бояр уж, что ли? – голову положили Петру Тихоновичу на грудь и не убирали тела до глубокой ночи.

В тот же день новое правительство заплатило стрельцам то, что сэкономил на них Морозов. Было дадено каждому по восьми рублей.

Начальником Большой казны, Стрелецкого приказа, Приказа иноземного строя стал Яков Куденетович Черкасский.

Борис Петрович Шереметев поставлен был у раздачи денег.

Казанский и Сибирский приказы отдали в управление князю Алексею Мышецкому.

Во Владимирский судный приказ сел Василий Борисович Шереметев, в Московский судный – князь Иван Хилков...

Все земли у Бориса Ивановича Морозова были взяты в казну, а поместье Траханиотова, подмосковное село Пахово, передали во владение Илье Даниловичу Милославскому.

Жене убиенного Назария Чистого на поминки дали пятьдесят рублей.

Царь и народ

Плещеев и Траханиотов казнены, стрельцам заплачено – можно и народу показаться. Царь с патриархом и боярами вышел на Красную площадь. Поцеловав образ Спаса, Алексей Михайлович сказал:

– Скорблю и плачу о том, что безбожники Плещеев и Траханиотов совершали такие неслыханные злодеяния. Смерть свою они заслужили черными делами. Ныне на все начальные места назначены благочестивые люди, которые будут управлять народом кротко и справедливо. И будут они править под моим царским бдительным оком. Во всем буду как отец Отечества!

– Бог да сохранит на многие лета во здравии твое царское величество! – закричали люди, кланяясь царю.

Но раздались и другие возгласы:

– Морозова выдай! Главного виновника не прячь от нас!

Алексей Михайлович всплеснул руками.

– Да лучше уж меня убейте! – И заплакал. – Не могу я вам Бориса Ивановича на лютую смерть отдать. Много за ним вины! Только не во всем же он виноват. Мой дорогой народ! Люди! Я еще ни разу ни о чем вас не просил, а теперь нижайше прошу исполнить мою единственную просьбу: простите Морозову его проступки. Морозов отныне выкажет вам все доброе, что есть в его душе. Мой батюшка, умирая, завещал Борису Ивановичу быть мне за отца. С малых лет он учил меня доброму и разумному.

– Бог да сохранит на многие лета во здравии твое царское величество! – второй раз воскликнули одни, а другие выказали сомнение: – Да ведь как Морозову простить, когда он всю Москву сжег?

Плача, государь подошел к золотому кресту, который держал патриарх Иосиф, поцеловал крест и поклялся:

– Сошлю Бориса Ивановича на край государства! Никаких должностей отныне и никогда впредь занимать ему будет не дозволено. Богом вас заклинаю, люди, подарите мне жизнь воспитателя моего!

– Да будет то, что требует Бог да его царское величество! – согласились москвичи.

* * *

Жизнь Бориса Ивановича Морозова была спасена, и уже на следующий день он послал из своих дворовых людей кого за лесом, кого за кирпичом и уже успел переманить к себе на пожарище лучших строителей.

Ладно бы хозяйством занимался – так нет! В тот же день явился в Думу. Разгневанный Яков Куденетович Черкасский послал к нему выборных людей от детей боярских, которые собрались на Красной площади, требуя, чтоб им тоже заплатили, как заплатили стрельцам.

– Вы думаете, что коли взбесившиеся людишки гоняли старика Морозова, как зайца, по Москве, так он теперь и вывернет перед каждым карманы государевой казны? – закричал на выборных Морозов. Виски седые, лицо кровью налилось, в глазах блеск. – Нет, голубчики! Ничего вам не дам. Я денежки на строительство порубежных городов копил, а теперь Москву надо строить!

Такое пережил, а духом не ослабел Борис Иванович – государственный человек! У него и власти теперь никакой не было, но все уже пританцовывали под его дуду. Илья Данилович Мирославский на своем уцелевшем от пожара дворе поил и кормил стрельцов, кафтанам жаловал, деньгами. Царица Мария Ильинична допустила к руке выборных от посадских людей, от стрельцов, купцов, холопов. И тоже угостила и соболями всех одарила. И, выйдя на Крас-

ную площадь, эти выборные люди закричали, что хотят в правители Бориса Ивановича свет Морозова.

Может, и сошло бы, но рассерженные дети боярские закидали крикунов камнями и пошли поднимать народ на новый гиль. И всем было ясно: за дворянским войском стоят князь Яков Куденетович Черкасский и Шереметевы. Никита Иванович Романов, осердясь на царя, что не убрал Морозова, перестал в Кремль ходить, сказался больным, а впору опять было перед народом шапку ломать.

10 июня дворяне-жильцы, дети боярские, дворяне московские, гости, торговые люди, стрельцы ударили царю челом о созыве Земского собора, и государь, царь и великий князь Алексей Михайлович согласился созвать собор и дать народу своему закон, статьи которого повелел списать с «Правил святых апостол и святых отец» и с градских законов греческих царей, и выписать пристойные статьи из законов прежних великих государей, царей и великих князей российских и отца его, государева, блаженные памяти Михаила Федоровича, великого государя, царя и великого князя всея Руси. Повелел собрать воедино указы и боярские приговоры на всякие государственные и земские дела и те государские указы и боярские приговоры со старыми судебниками сличить. А каких статей не было, и те бы статьи написать и изложить по его, государеву, указу общим советом, чтобы Московского государства всяких чинов люди, от большего и до меньшего чина, суд и расправу имели во всяких делах всем равную.

И указал государь составить «Уложение» боярам князю Никите Ивановичу Одоевскому, да князю Семену Васильевичу Прозоровскому, да окольному – князю Федору Федоровичу Волынскому, да дьякам Гаврилу Левонтьеву да Федору Грибоедову.

11 июня решилась судьба Бориса Ивановича Морозова. В первом часу дня сто пятьдесят детей боярских, да сто пятьдесят стрельцов, да сто старост статских – все с ружьями – окружили возок бывшего правителя и отправились все на Белое озеро в Кирилло-Белозерский монастырь.

Не успела пыль улечься за колесами возка, в котором повезли Бориса Ивановича, а государь уже посылал гонца к игумену Кирилло-Белозерского монастыря Афанасию, строителю Феоктисту и келарю Савватею. Писал государь о том, чтоб Борису Ивановичу почет был оказан, чтоб берегли его крепко и надежно от всяких козней и злоумышленников.

«Да огнюдь бы никто не ведал, хотя и выедет куды, – писал Алексей Михайлович, сам писал, своей рукой: дело невиданное! Московские цари даже грамот государственных не подписывали, не роняли достоинства. – А если сведают, и я сведаю, и вам быть казненным. А если убережете его, так, как и мне, добро ему сделаете, и я вас пожалую так, чего от зачала света такой милости не видали».

Москвой правили чуждые Алексею Михайловичу люди, но хоть и молод он был, а терпелив знатно. В свои двадцать лет Алексей Михайлович научился уступать силе и обстоятельствам, как никто среди всего московского синклита, светского и духовного. Со стороны казалось, что царской уступчивости нет предела. И те, кто так думал, ошибались, себе же на беду. Алексей Михайлович всегда знал, чем он может поступиться.

Возвращение Морозова

Москва в который раз отстраивалась. Колокола на церквях созывали прихожан Богу молиться, никаких тебе всполошных звонов. В Золотой палате бояре поделили власть, царь Алексей Михайлович раздал приказы, как того хотели Шереметевы, Черкасские, Никита Иванович Романов. Но патриарху Иосифу государь шепнул:

– Раздай стрельцам по четыре рубля, пусть ударят челом, просят возвратить боярина Бориса Ивановича Морозова с Белого озера в Москву.

Сам Алексей Михайлович пожаловал стрельцам по десяти рублей каждому.

Потекли челобитные в Кремль.

Их приносили архимандриту Новоспасского монастыря Никону, в царские руки подавали.

Никто челобитчиков саблями не рубил, в тюрьмы не сажал, но ответа тоже не было.

На Симеона Столпника, 1 сентября, открылся Земский собор. 16 сентября государь приказал выдать жалованье дворянам и детям боярским, которые по выбору приехали из городов Московского царства. Сам отправился в Троице-Сергиеву лавру, где его ждал Борис Иванович Морозов.

25 сентября боярину Морозову царь вернул все его огромные земельные владения и многие тысячи душ. Но в Москву Алексей Михайлович один вернулся.

Насторожившиеся было бояре успокоились. Царь занимался подсчетом убытков от пожара, от грабежей.

Сгорело в Москве 24 тысячи домов, 30 миллионов пудов хлеба стоимостью в 375 пудов золота.

Сгинули несметные сокровища московских купцов и бояр, у одного Шорина убытку на 150 тысяч рублей. Никите Ивановичу Романову мятеж обошелся в несколько бочек золота. Сгорело в огне две тысячи человек.

Патриарх Иосиф разослал во все концы Московского царства грамоты о молебствии и двухнедельном посте.

Бед и напастей – гора, но жизнь без радостей не бывает.

В ночь на 22 октября, под праздник Пресвятой Богородицы, во славу ее иконы, именуемой Казанская, царица Мария Ильинична разрешилась младенцем.

26 октября к царю в гости приехал Борис Иванович Морозов. Алексей Михайлович пожаловал ему наследника ради из дворцовых коломенских вотчин, под деревней Ногаткиной, луг в четыре десятины – для сокольников.

29 октября Морозов был в Кремле на крестинах Дмитрия Алексеевича. На пиру случился скандал. Князь Яков Куденетович Черкасский не пожелал пить заздравные чаши за одним столом с Борисом Ивановичем. Зело рассердившись, самочинно покинул государев праздник. Яков Куденетович был судьей Иноземного приказа. А это офицеры и солдаты из Европы. Сила грозная. Тотчас последовал указ, и немецкие полки перешли под руку Ильи Даниловича Милославского.

Полгода не продержалось у власти правительство старого боярства. Один из авторов «Уложения», князь Прозоровский, по возвращении в Москву Бориса Ивановича Морозова поехал воеводой в Путивль, другие авторы: Федор Волконский – в Олонец, Никита Иванович Одоевский – в Казань, боярин Василий Борисович Шереметев – в Тобольск. Судья Земского приказа Михаил Петрович Волынский – в Томск. Не тронули Якова Куденетовича Черкасского да Никиту Ивановича Романова.

Борис Иванович канул было на край земли, но тот край оказался по соседству с Москвой. В июне свергли, а в конце октября Морозов уже слушал составителей «Уложения» и ставил подпись под статьями.

А вот Глеба Ивановича от дел горе отвратило. Овдовел.

Автодья Алексеевна на грабителей с кочергой ходила, а как гиль угас, и она угасла.

Но река жизни мчит, берега моет. Из вод бытия острова поднимаются. Черемуха весной цветет, осенью яблоки с яблонь падают...

Царица Мария Ильинична нашла себе увлекательное дело: невестам мужей приискывать. А тут свой горемыка, деверь родной сестры, одиночеством болен. Отчего же не устроить судьбу Федосьи Соковниной да и всего семейства Прокопия Федоровича.

Глеб Иванович моложе брата, стать у него молодому на зависть, богат, среди бояр не последний.

Когда Прокопий Федорович и Анисья Никитична подступили к дочери, Федосья все уже знала, – слез не было. Дуня порадовалась за сестру.

– Помнишь, как продавали украшения, чтоб хлеб купить для голодных крестьян? Теперь у тебя всего будет много. Много доброго сделаешь.

На свадьбе Анна Ильинична посмотрела Федосье в глаза, обняла.

– Одна у нас стезя. Кой-чему научу потом.

Учиться у Анны Ильиничны Федосья Прокопьевна не захотела. Забеременела в медовый месяц.

И еще одно событие, для судеб русского народа ахти великое, случилось в то зело шумное лето 7156-е, в 1648 год от Рождества Христова.

Престарелый митрополит Новгородский Афоний по немощи и старости своей стал просить патриарха, чтоб отпустил его на покой. Просьба митрополита Афония совпала с горячим желанием царя Алексея Михайловича поставить архимандрита Новоспасского монастыря в митрополиты.

Никон посетил Афония в Хутынском монастыре.

Когда-то митрополит посвящал Никона в игумены, теперь ему надлежало посвятить своего ученика на пастырскую деятельность в сане святителя.

Произошла обычная игра, столь любезная в среде монахов. Никон просил благословения у старца Афония, старец Афоний в смиренческом порыве пророчествовал:

– Благослови мя, патриарше Никоне!

– Ни, отче святыи! – приятно удивлялся Никон. – Аз грешный – митрополит, а не патриарх.

– Будешь патриархом, благослови мя!

И Никон знал, что будет он патриархом, коль стал митрополитом. Три года был игуменом, три года архимандритом, а сколько быть ему в митрополитах – зависело от числа лет и дней, отпущенных дряхлому патриарху Иосифу.

Тотчас по вступлении в должность новгородского митрополита Никон в своей епархии ввел единогласие и портесное пение, любезное сердцу Алексея Михайловича.

«Уложение»

Царь, за все три года никого не обидевший, увидел вдруг, что в стране нет такого сословия, которое было бы довольно жизнью. Крестьяне стремились сбить с ног своих невыносимую колоду крепостничества, посадские люди рвали путы тягла, дворяне косились на бояр и монастыри – крестьяне, пускаясь в бега, искали сильного хозяина, – бояре, местничаясь, были в вечном своем недоверии и недовольстве, и, уж конечно, они были против того, чтоб вернуть посадку земли, а прежним владельцам – работников.

Складывая с себя ответственность за все неправды, проистекающие от всеобщего брожения, царь Алексей Михайлович указал быть Земскому собору, а «доклад написать» самым ученым боярам да дьякам.

Князья Одоевский, Прозоровский, Волконский и дьяки Леонтьев и Грибоедов в 1649 году предложили собору на рассмотрение и утверждение 967 статей, разбитых на 25 глав.

Собор доклад утвердил, и отныне каждая статья его стала законом, а весь свод их – «Соборным уложением царя Алексея Михайловича».

Начиналось оно главой «О богохульниках и церковных мятежниках» и завершалось «Указом о корчмах».

Авторы «Уложения», князья и думные дьяки, показали себя знатоками духа, быта и народной жизни.

«А будет который сын или дочь... отца и мать при старости не учнет почитать и кормить... и таким детям за такие их дела чинить жестокое наказание, бить кнутом же нещадно и приказать им быти у отца и у матери во всяком послушании безо всякого прекословия, а извету их не верить. А будет который сын или дочь учнут бити челом о суде на отца или мать, и им на отца и на мать ни в чем суда не давати, да их же за челобитие бить кнутом».

Авторы «Уложения» выказывают себя справедливыми. Вот, к примеру, статья 279: «А буде у кого на дворе будут хоромы высокие, а у соседа его блиско тех высоких хором будут хоромы поземные. И ему из своих высоких хором на те низкия хоромы соседа своего воды не лить и сору не метать. А будет он на те низкия хоромы учнет воду лить или сор метать... и у него те хоромы (высокие) отломати, чтобы впредь соседу от него никакова насильства не было».

Но стоит заглянуть в статьи «Суда о крестьянах» или в статьи «О посадских людях», сразу же становится ясным: князья-законники пишут законы, удобные себе, крестьяне для них всего лишь имущество: «Беглых крестьян и бобылей, сыскивая, свозити на старые жеребьи, по писцовым книгам, с женами и с детьми и со всеми их крестьянскими животы без урочных лет».

Столь же суров княжеский закон и к посадским людям: «А которые московские и городовые посадские люди были в посадском тягле и стали в пушкари, и в затинщики, и в воротники, и в кузнецы, и в иные во всякие чины, и тех, по сыску, всех имати в тягло».

Триста пятнадцать подписей скрепило новое русское право, и право это было крепостническое.

«Уложение», по которому надлежало жить, уместилось на свитке длиною в 434 аршина.

Закон собором утвержден, Богом и всем миром: трудитесь, плодитесь, любите Господа и самих себя. Народ затаился, но толки о царе, о его любимцах шли опасные. «Алексей молодой! – говорили люди, которые и сами не знали, чего хотят. – Царь глядит в рот Морозову и Милославскому. У Борьки с Илюшкой вся власть, они всем владеют, и царь это знает. Знает и молчит».

Бориса Ивановича Морозова стрельцы сговаривались утопить на Крещение в Иорданской проруби.

Заговор открылся. Якова Куденетовича Черкасского и Никиту Ивановича Романова от всех дел отстранили. Шустрых стрельцов отправили охладиться в Сибирь.

Но московский гиль, как летучую заразу, разнесло по Русской земле во все стороны.

Бунт полыхнул в Сольвычегодске, потом в Устюге. Уж очень все по-русски дейлось.

Стольник Приклонский собирал в Сольвычегодске деньги на содержание ратников царя. Посадские люди по обычаю дали стольнику взятку, чтоб поменьше заплатить. А тут гиль в самой Москве, царь казнил тех, на кого народ указал.

У Приклонского взятку отняли.

В Устюге московского сборщика податей убили. Грабить так грабить. Разорили дворы богатых людей, очистили от добра дом воеводы. Воеводой в Устюге был родственник Ильи Даниловича Милославского.

Из Москвы со стрельцами явился князь Иван Ромодановский. Зачинщиков мятежа повесил, посад прижал, брал взятки – и немалые.

В Новгороде бунтарей утихомиривал митрополит Никон. В Софийском соборе проклял зачинщиков гилья. Народ толпами пошел на митрополичий дом. Никон бесстрашно вышел к людям с уговорами, но его ударили в грудь и поучили кулаками и палками.

Остался жив.

Всполошный колокол Пскова в 1650 году поднял народ на великое несмирение. Несколько месяцев город-крепость жил по своей воле, не по царской. С царевым воеводой бился насмерть.

Но война не жизнь – геройство, а люди жить хотят. Город выдал своих героев царским воеводам. Мир воцарился.

Чтоб не казниться, обелить собственную подлость, героев называли злодеями. Злодеев на виселицу – они плохие, хорошие стали жить-поживать, добра наживать. Ну а то, что не так хочется, а как царь велит... Что поделаешь, отцы тоже так жили.

Неведомо, отвечают ли цари Богу за царствование, за рабство православного народа. Что для царя – грех?

Но вот как жизнь распорядилась. На другой год после бунта, названного в Москве Соляным, царь с царицей и с младенцем, царевичем Дмитрием Алексеевичем, – а ему и года не было – на корабле ходили молиться в Кириллов-Белозерский монастырь.

Мамка на сходнях пошатнулась, уронила младенца в реку. Младенец захлебнулся.

Уж не запретное ли имя Дмитрий для престола русского царства?

Княгиня Урсова

В 1651 году пришло время выдавать замуж Дуню Соковнину. Шестнадцать лет девушке.

Мария Ильинична сама жениха искала. Предложила Прокопию Федоровичу для его дочери княжеское достоинство. Князь, правда, не русский, но корни имеет царские, молод, хорош собой, человек православный и царю угодный: кравчий Петр Семенович Урусов.

Федосья Прокопьевна не поленилась, изучила древо рода Урусовых.

Ласкала сестру, радуясь за нее.

– Твой Петр Семенович – птица с золотыми крыльями. Его род от Едигея – мангытского эмира. Едигей – основатель Ногайской Орды, начальник войска хромоногого Тимура. Побил Тохтамыша и литовского князя Витовта, а Тохтамыша нашел в Сибири и убил. Русским городам от Едигея тоже крепко досталось. Сжег Серпухов, Дмитров, Ростов, наш с тобой Переяславль, Нижний Новгород, а вот Москву не сумел одолеть. Царем не был, но Золотая Орда ему покорилась.

– А ты говоришь – Урусовы царского рода! – У Дуни память цепкая.

– Царского. У старшего сына Едигея, у Акиз-мурзы, было три сына. Его первенец Муса-мурза родил восьмерых сыновей. От третьего сына, от Кутука, пошли князья Кутуковы, от пятого, Юсуфа, – князья Юсуповы, от седьмого, Шийдяка, – князья Шийдяковы, а от последнего, от Измаила-мурзы, – Урусовы. Сын Измаила, Урус-мурза, поступил на службу к царю Борису Годунову. Царь Борис дал Урус-мурзе город Касимов и наградил титулом царя. Урус-мурзу убил Лжедмитрий Второй – Тушинский вор, а Тушинского вора зарезал внук убиенного Урус-мурзы – Петр Арсланович. Касимовский царь Петр Арсланович родил шестерых сыновей. Твой Петр Семенович происходит от третьего сына касимовского царя, от Сатый-мурзы. Сын Сатя, Андрей, был воеводой Нижнего Новгорода при царе Михаиле Федоровиче, сын Андрея, Симеон, ныне воевода Алексея Михайловича.

– Господи! – ужаснулась Дуня. – Как ты все это запомнила?!

– Мозги такие...

– Выходит, я буду татарской принцессой?

– Ты будешь царицей ногайской, – серьезно сказала Федосья.

Положила перед Дуней рукописную книгу. Дуня открыла и ахнула – не по-нашему писано.

– Это сказание ногайцев, называется «Едигей». Я нашла учителя. Он научит тебя чтению и прочтает тебе эту книгу. Ты к тому же выучишь язык твоего мужа.

– Но зачем? Он же православный!

– Князь Петр православный. Я с ним знакома. Он – добрый человек. Но твои дети будут Урусовы, татарские князья нашей Русской земли. Твой муж полюбит тебя и полюбит русских, если ты полюбишь его народ и научишься говорить на его языке. Я тоже учусь татарскому языку.

– Ради меня! – вырвалось у Дуни.

– Но это так хорошо – знать. – Федосья всматривалась в вязь арабской рукописи. – Красиво и таинственно. Но если не знаешь букв – не прочитаешь слов. Не осилишь книги – останешься чужда народу, пусть не русскому, но живущему в царстве царя, который твой и его, живущего на земле, которая твоя – и его.

Слуга привел учителя. Это был драгоман⁵ Посольского приказа. Учитель сказал:

⁵ Драгоман – переводчик с восточных языков.

– Я нынче видел себя во сне маленьким мальчиком и почему-то очень горько плакал. Плакать во сне – к радости. И у меня радость: я буду обучать татарскому языку достойных уважения сестер.

– Тоже сон вспомнила! – Дуня стала озабоченной. – Наверное, мой сон был нехороший... Будто дождь ливнем и дом наш до потолка наполнился, но не водой, а пылью.

– Это сон замечательный! – обрадовал сестер учитель. – Сон говорит о том, что блага земные и средства к жизни будут в вашем доме в изобилии.

Начал урок драгоман улыбкой. Улыбался, глядя на страницу, заполненную вязью арабских букв.

– Без солнца этого не было бы. – Учитель показал на книгу. – Но это – чудо. Одно из чудес жизни.

Теперь учитель улыбался ученицам.

– Запомните одну простую истину: «Человек совсем еще не человек, покуда он потворствует своим желаниям, покуда он алчен, склонен к раздражению, покуда он хулит других людей».

Слушать учителя было интересно, а Дуня терпение потеряла, ей хотелось узнать арабскую букву «аз».

– Эта буква называется «алиф», – показал учитель, не дожидаясь вопроса, будто прочитал Дунины мысли. – Потерпите. Я расскажу вам одну притчу. Пророк увидел сидевших на заборе вдоль дороги понурых людей. Спросил: «О чем скорбите?» Ему ответили: «Страх перед адом томит наши сердца». Пророк пошел дальше и увидел других безутешных. Спросил: «О чем скорбите?» Ему ответили: «Жажда рая обуревает нас». Пророк снова отправился в путь и встретил сельчан, лица которых светились радостью. Спросил: «Что сделало вас счастливыми?» Ему ответили: «Дух Истины. Мы рады, что живем, остальное – обычные заботы».

– Буква «алиф» – это дверь, за которой Истина? – спросила Федосья Прокопьевна.

– Это так, госпожа! – порадовался за учениц учитель.

Увы! Немного букв арабской вязи познали сестры. Дуня пошла под венец и стала княгиней Урусовой. На другой год она родила наследника своему князю Петру Семеновичу. Васеньку-княжича.

Соковнины без интриг, без подсиживаний, без затейливого поиска женихов стали родом благополучным и значительным. Прокопий Федорович в именины царя 1650 года марта 17 дня был пожалован в окольничие, сопровождал царя в загородных походах, служил у царицы дворецким, нес государственные службы: встречал мощи патриарха Иова; увенчанный титулом калужского наместника, вел переговоры с литовскими послами.

Его дочери стали у царицы приезжими боярынями. Федосья среди самых близких – шестая. Евдокия обзавелась титулом княгини. Брат Прокопия Федоровича, Иван, поехал на воеводство в Вятку. Сын Федор – стольник царя, сын Алексей – стольник царицы.

Соковнины почитались в Москве семейством добрым, покойным, благополучным. А вот Милославских в Москве не любили. Илья Данилович явил себя человеком корыстным, властолюбец, взяточник, кичлив и глуп.

Вся Москва знала, царь собственной рукою бил по морде Илью Даниловича – уж очень вороват тестюшка.

Грехи, грехи!

Но, слава богу, бурю Соляного бунта пережили. Потешало на Русской земле.

Часть вторая. Боярыня Морозова

Протопоп Аввакум

К протопопу Казанского собора отцу Ивану Неронову прибежал из Нижегородчины, из села Лопатищи, поп Аввакум.

Батяка не раз схватывался с местным воеводой, терпел от него грубости, побои, угрозы. Воевода рвался в дом Аввакума с ружьем. Вот только вина батюшкина странная: служил, как Церковь предписывала, но воеводе долгие службы стоять недосуг, требовал служить с пропусками.

А тут еще беда! Пришел из Москвы указ царя о скоморохах. Под угрозой батога и ссылки скоморошья затей, медвежьих пляски запрещались. Указ гласил: «А где объявятся домры, и сурны, и гудки, и гусли, и хари, и всякие чудесные бесовские сосуды, и те бы вынимать и, изломав, жечь».

Поп Аввакум царю и Церкви был послушен, но воевода брал сторону народа. До Москвы далеко, а где русское далеко, там местная власть и царь, и Бог.

От смерти бежал Аввакум в Москву. Протопоп Неронов был свой человек, в Лыскове родился, на берегу Волги, в Лыскове служил. Потом в Нижнем. Такие праведные проповеди говорил – из Москвы слушать ездили. Теперь протопоп Казанского собора. Казанский собор на Красной площади. Неронова царь знает, Неронов друг царева духовника Стефана Вонифатьевича. У Стефана Вонифатьевича собираются ревнители благочестия. О благочестии православного народа пекутся мудрецы.

Батяка Аввакум притек к Неронову в горячее время. 15 апреля, две недели тому назад, отошел ко Господу патриарх Иосиф. Митрополит Новгородский Никон в дороге. Переносит с Соловков мощи святителя мученика Филиппа. Церковные дела стряпали царь и Стефан Вонифатьевич с ревнителями.

Судьба Аввакума решилась скоро и просто.

Неронов привел Аввакума к Стефану Вонифатьевичу. А у Стефана Вонифатьевича ревнители думу думают. Всюду церковные нестроения, воеводы теснят священников, заводят собственные порядки.

Послушать правдивые речи пришел царь. Неронов попросил Аввакума рассказать о его бедах, как унимал воеводу, как скоморохов из села гнал.

Аввакум говорил словами горячими, иной раз посмеиваясь над собой. Поведал, как боярин Василий Петрович Шереметев плыл в Казань Волгой и чуть было не утопил. Аввакум отказался благословить сына боярина, у добра молодца блюдолюбный образ – борода и усы бриты. Царю Аввакума слушать было интересно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.